

П Р О З А

РАССКАЗЫ х/

Э.Буряковская не давала своим рассказам названия. Когда я сказал ей, что это создает при публикации неудобства, она предложила назвать, как я считаю нужным.

Я воспользовался этим разрешением при первой публикации ее рассказов в "Ч" и даю название при этой посмертной публикации.

Энгелина Буряковская, талантливый львовский прозаик, чье творчество отмечено глубоко драматическим восприятием жизни, в этом году скончалась.

Б.И.

Ведь сказано в Библии...

Черная полоска прыгает то выше, то ниже. Черная полоска прыгает и я не в состоянии зафиксировать на ней взгляд. Я не знаю, что она такое, эта черная полоска. Я даже не представляю, чем она может быть, эта черная полоска. И мне кажется, что если я смогу постичь ритм ее движения, у меня будет шанс определить ее сущность, а значит избавиться. Я начинаю отсчитывать доли ее метра, считая на три четверти... Ритм вальса... Полоска начинает кружиться все быстрее. И это уже не полоска. Это уже круг. И в своем круговороте начало ее соприкасается с ее концом. И не начала, нет конца, есть нечто. Я замолкаю и верчение прекращается. Концы разрываются и это уже опять полоска, на которой я не могу зафиксировать взгляд. Черная полоска прыгает то выше, то ниже, но я уже знаю ее пульс. Теперь, если я просчитаю в другом размере, я почувствую синкопу и еще раз удостоверюсь, что ее метр — метр вальса. Потому что правильное нахождение ее дыхания — есть залог правильного определения ее сущности. Итак, я считаю на четыре. Я еще раз считаю на четыре. Синкопы нет. Каждое движение полоски совпадает с моим счетом, с каждым взмахом моей руки. Я начинаю считать на пять, на шесть, на два. Ее движения постоянно совпадают с заданным ей ритмом. Я начинаю опасаться, что не смогу поймать суть ее движения, а значит так и не узнаю, что это такое и что она от меня хочет. О н а о т м е н я. Почему это она от меня. Возможно, я от нее. Это я к ней цепляюсь. Это я ее определяю. Это я что-то считаю и ловлю. Это я ей навязываю метр. Это я лезу в ее суть. Это она не может зафиксировать на мне взгляд. Это она считает, а я кружусь в ритме вальса. И пальцы моих рук соприкасаются с пальцами моих ног. И когда я выпрямляюсь, это я чувствую истому

в спине. После быстрого верчения, грудь моя вздымается вверх и вниз и черной полоской прыгает перед глазами черной полоской. И я начинаю думать, как мне помочь ей избавиться от меня. Я, конечно, могу перестать дышать и стать стоячей черной полоской и тогда она сможет приспособить свой взгляд ко мне, но избавиться совсем у нее уже не будет возможности. Я просто на всю жизнь застряну у нее в глазах и буду физически неустранима. Я, конечно, могу встать и уйти с поля ее зрения, но я не могу встать и уйти с поля ее зрения. И тут я нахожу выход из этого, "безвыходного" положения. Мне надо просто сползти с уровня ее глаз, не уйти, — сползти. И я сползаю с кровати на пол, стаскиваю постель и устраиваюсь. Правда, это не так удобно, но вполне сносно. Глаза ее, очевидно, освобождаются от меня и больше ничто не мешает ей видеть. И мне хорошо, потому что ведь сказано в библии: если тебя ударят в правую щеку — подставь левую.

В трамвае

Я рванулась и, оттолкнув что-то стоящее на дороге, вцепилась обеими руками в поручень, подтянулась и втиснулась в крошечную щель, образовавшуюся в толпе на подножке трамвая. За спиной хрястнуло, трамвай двинулся, народ взвыл. Я оглянулась. На медленно удалявшемся тротуаре, хрустя, раскалывалась старушка. Сначала отвалилась верхняя часть, затем боковые, затем нижняя. Под нижней я подразумеваю ноги. Ноги отвалились вместе. Внутри оказалось пусто. Внутренности плотно присохли к отваливающимся стенкам. Внешняя сторона стенок была грязно-бурого цвета. После пристального разглядывания, я сообразила, что в молодости это было яйцо, которое от долгого употребления сверху потемнело, а внутри иссохло. Ну да бог с ней, старушкой. Сейчас я не желала задумываться над случившимся. Я опаздывала и нервничала. Трамвай дребезжа, полз по своему извечному маршруту. Его длинный чешуйчатый хвост мешал развить скорость, цепляясь за выбоины и неровности мостовой. Я уже писала куда следует, предлагая отрубить этот хвост, но мне резонно ответили, что это категорически невозможно, ибо тогда он истечет кровью и остановится навсегда. А так как у нас очень много народу без нижних конечностей, приходится мириться с его медленным существованием. Для людей без ног в трамвае есть специальные приспособления: в дверях стоит аппарат, всасывающий их во внутрь, а на потолке лежит множество петель, в которые продевают их руки и подвешивают. Петли различной длины и толщины, рассчитанные на комплекцию пассажиров. Для иных, не имеющих рук, но с ногами, из боковых стен трамвая выдвигаются стульчики с перильцами, чтобы они не сползали от толчков. А для людей без рук и без ног на полу имеются специальные выемки, в которых они

сидят без особых для себя неудобств. Для людей со всеми человеческими атрибутами — предназначена подножка, на которой они стоят, плотно прижавшись друг к другу, чтобы не вылететь на поворотах. Это очень неудобно потому, что иногда соседу приходит в голову начать любовное заигрывание, и оттолкнуть его некуда. В силу этого у нас в городе много незаконнорожденных детей. Очень много. Детей, зачатых таким образом, можно отличить по небольшим отклонениям от физической нормы. Например, почти все дети рождаются с головой насаженной прямо на ножки, ручки у них растут, обычно, из ушек. У некоторых детей есть животики, но они находятся сзади. Констатирую это просто как визуальный факт, потому что отклонений от интеллектуальной нормы у них нет. Они двигают прогресс также как и все остальные. Их даже не дразнят. Да и вообще их гораздо больше, чем законных. Объяснить их несколько иной внешний вид науке не удалось. Пока медицина ограничивается гипотезами. Вот одна из них: от сильной тряски части тела могут переместиться, а то и выпасть вовсе, но эта гипотеза их тоже весьма проблематична. Она предполагает массу вопросов, на которых нет ответов. Но все это ерунда. Тревожит другое, если это вообще повод для тревоги. "Незаконные" вступают в брак и производят на свет себе подобных, но с еще большими формальными замшелостями. У некоторых нет рук. У некоторых — ушей, а то и ног, у некоторых еще чего-нибудь нет, или выросло лишнее, уточнять не буду и так видно. Правда, наука ушла настолько далеко, что особенных затруднений нет. Я уже говорила обо всех устройствах и приспособлениях для передвижения и жития их. Так, что если подумать трезво, так и волноваться особенно не приходится, но иногда, на досуге, эти мысли приходят в голову, особенно, когда гуляешь по городу, или едешь в трамвае. А сегодня, сейчас, мне еще повезло с соседями по подножке.

Другие

Ю. Шалацкому

- Я вас знаю, — ткнул он меня пальцами левой руки, правая была занята молодой славянской дамой. А я боюсь молодых славянских дам. Боюсь их чистых, незапятнанных размышлениями чувств, которыми они меня неодобряют. Долго я ломала голову доискиваясь причин /очень неодобряют/. Может наружность? Ведь это все не вздор! Уж слишком много у меня страхов /темнота, гусеницы, медузы, разжигатели войны и прочие вещи и понятия/, чтобы бояться еще и молодых славянских дам.

- Я даже знаю как вас звать, — опять обратился он ко мне. Это было удивительно подозрительно. Я всего лишь первый день в этом большом противном городе, где у меня трое знакомых и одна знакомая /рядом стоящая/, а я уже известна. От удивления, ошеломления, изумления, страха и скуки, наконец, брови мои торопясь полезли вверх, перескочили линию лба и врезались в тропические заросли моих волос. Там было влажно, душно, темно и пр. Если бы я была на месте бровей, попав в свои волосы, я бы испугалась нешутя. Я бы тут же начала бояться встречи с каким-нибудь гнусом. Их в такой среде должно быть неисчислимо. Я стояла столбом, боясь шелохнуться. Я вся затекла и ноги у меня раздулись /потому что когда что-нибудь течет, оно непременно течет вниз. А внизу у меня ноги, а не сточная канава /к сожалению/, а у канавы есть русло, а ноги — это замкнутая система. Поэтому я и раздулась /не я, а ноги/, что затекла. Логично, не правда ли? Я всегда отличалась логической текучестью мысли. Так вот, я боялась, что услышав посторонний шум и чужой дух, они тут же повьлазят и начнут меня есть живьем. За каждым волосом во тьме мне мерещился мерзкий тварь. Сердце мое перестало биться /чтобы не шуметь/, а глаза сильно вытаращились, надеясь увидеть готовую к атаке насекомую. Так

и стояла я в недвижной нерушимости.

— Я вас сразу узнал, — спас меня от борьбы за жизнь голос милого человека, — вы очень похожи на свою фотографию. — Брови мои нехотя сползли с привычного уже не своего места на непривычное уже — свое.

— Это еще что, вот если бы вы видели меня живой, вы узнали бы меня еще пуще прежнего, — отпарировала я и зарделась от натуги. Такие светские разговоры с посторонними /без подготовки/ я никогда на свете не вела. Но уж больно он был мил. Сейчас-то я понимаю, чем объяснялась его милость, но тогда, в чужом противном городе, где чувства мои были заняты скукой, а ум — ничем, немудрено, что его голубая статья произвела на меня столь неотразимое впечатление. Но затем, когда мои глаза поднялись еще выше /а он был огромен/ и уткнулись в его лицо /и красив/, я поняла, что в моих чувствах прорезалась брешь. Он как две капли воды был похож, вернее, как двоюродный брат был похож на моего друга, который вот уже три года живет в Голливуде. Последний год мой друг живет с японкой. Тут уж я почувствовала, как мои чувства, скованные коркой скуки трескаются под напором здоровой любознательности. С японкой! Подумать только! Еще ни один из моих друзей не спал с японкой. Это безумно интересно. Невыносимо интересно это! Япония — страна восходящего солнца и женщина, миниатюрная, проворная, в деревянных сандалиях, с раскосыми сливами! А он с ней общается. И целует ее японские губы. Это просто невероятно, что я могу узнать все из первых рук, прямо сейчас, не сходя с места. Я всегда знала, что он очень не простой. Что он что-нибудь подкинет. Это человек на все руки и ноги: то он читает свои стихи, то мои, то чужие, то спит с японкой, то читает японские стихи, то еще что-нибудь и все — блестяще! Я закрыла глаза, чтобы успокоиться.

Успокоиться для размышления. Мне нужна была фраза. Деликатная, многозначительная, такая, чтобы его хороший слух и

изобретенный ум уловили в ней те вопросы, на которые я непременно желаю получить ответ. Чуть поразмышляв, — и я придумала! Всего два слова, но какие! : ну как? Какое емкое слово как. В этом слове вопрос на все ответы. А если это слово еще и соответствующе подать..., подтолкнуть маленьким словом ну. А? Подталкивающее ну к короткому, прыгающему как. Если эти два слова произнести таким образом, чтобы ну звучало тихо, ласково, при опущенных ресницах, а к концу слова как поднять глаза, чуть вздернуть голову и повысить голос, едва-едва. Можно даже слово как сказать с легким нажимом, но не за счет голоса /громко/, а за счет люфта. Крошечный люфтик перед как, и еще потянуть : ка-а-а-ак. Я сосредоточилась. Трепет от предстоящего процесса познания становился несносным. Я приготовилась. Приготовилась сыграть фразу. Я улыбнулась /чтобы согреть улыбкой общение/ и открыла рот, вытянув вперед губы. И увидела — молодую — славянскую даму. О боже! Мой рот мгновенно захлопнулся! Черт! Слава богу, вовремя успела захлопнуть рот! А не то эта молодая славянка была бы /возможно/ камнем в моем огороде. Правда, может статься, что она просто так славянка, а не близкая славянка, может еще и недалекая славянка и я зря запаниковала. Но афоризм "Риск благородное дело" весьма проблематичен. В общем, если бы я не была так разочарована присутствием молодой славянской дамы, я бы доказала, что риск — не благородное дело. Отнюдь не благородное. Риск благороден лишь тогда, когда с уверенностью можешь сказать, что все окончится благополучно. Риск окончится...

Я закрыла глаза, чтобы успокоиться и отошла к забору. Мало-помалу я вышла из ража, и, ковыряя пальцем забор, осталась ждать, пока наша подруга закончит беседу.

Закон

Я пожал плечами. Подошел к зеркалу и опять пожал плечами. Пожал плечами и одновременно поднял левую бровь. Засунул руки в карманы брюк и попятился, пожимая плечами. Облокотился на противоположную стену и выдвинул левую ногу. Нет, лучше сесть на стул и, пожимая плечами, поднять левую бровь. Левую ногу закинуть на правую и легонько ею покачивать. Теперь, если бы напротив меня был я сам, я, пожалуй, пересмотрел бы свои взгляды, глядя, как я снисходительно покачиваю ногой, на все мои тирады. Так впредь и вести себя с инакомыслящими.

Нас будет только трое. Я. Дочь, которой два года, восемь месяцев, шесть дней. Ее жених, которому двадцать семь лет, три месяца, девятнадцать дней. Они решили пожениться. Завтра. Полюбила она его с первого взгляда. Только дети и собаки обладают еще тем незамутненным чутьем, которое позволяет им из огромного количества объектов выбрать тот единственный, адекватный их внутреннему образу, представлению, соизмерению. Завтра, отмечая это экстраординарное событие в их жизни, мы съедем коробку конфет, которую я заказал две недели тому у своего знакомого. То, что нас будет только трое — понятно. Разве взрослому человеку объяснишь что в данном случае к чему? Я хотел пригласить на свадьбу одну особу. Я говорю об особе потому, что жены у меня нет. Жена бросила меня сразу же после рождения ребенка. И я ее не осуждаю. Это была женщина до мозга костей. Другого мозга у нее не было. Она и мыслила только тем мозгом, который был у нее в костях. Итак, я остался с маленькой дочкой на руках. И я ее воспитывал. Так вот эта особа не захотела присутствовать на свадьбе. Она, как и все женщины носила голову на плечах только ради рта. Рот исполнял в ее жизни две функции: ругался и ел. Много ругался, много ел. Какая связь между "ругался" и "ел" первым обнаружил я.

Ругаясь, она разрабатывает лицевые мышцы и мышцы в полости рта. А для того, чтобы много есть, да еще трудноперевариваемое, нужен набор мышц, целый склад мышц...

Так вот, она предъявила мне чудовищные обвинения. Я прекрасно понимаю, что другие тоже имеют свои принципы, правда, доморощенные, но они-то этого не знают и потому борются за них. Раньше люди ради принципов на ~~выпили~~ костер шли, а теперь, собственно, и бояться нечего. Разве что — людей.

Конечно, после тех обвинений, она просто не осмелится... кстати, одно из них состояло в том, что моя дочь еще слишком маленькая, чтобы выходить замуж. Вот что значит ортодоксальность. Ортодоксальный взгляд на бытие. Человеку трудно представить, что можно выйти замуж за человека несколько иного, чем он сам. Что можно выйти замуж совсем за другого человека. Что можно выйти замуж, например, за карлика. Моя дочь выходит замуж за карлика. Он такого же роста, как и она. И только сейчас, пока она маленькая, она имеет такую возможность: выйти за него. Потом, когда она вырастет, она может его просто не заметить. А так свыкнется, а может, еще и не вырастет вовсе. И такое бывало. Может, и она карлик. Сейчас никто с уверенностью не может сказать обратного. Тем более, она любит его очень. Она все время орет, когда его нет.

Следующее обвинение заключалось в том, что моя дочь еще не созрела для детопроизводства, и будто бы по этой причине ей ни в коем случае нельзя выходить замуж. А это уж, по-моему, совсем вопиющая глупость. Именно сейчас, пока у нее не может быть потомства — и выходить замуж. Потому что детям вообще нечего появляться на этот свет. Из них вырастают ретрограды. Детей должны иметь только люди тщательно отобранные, чтобы и потомство, соответственно, ответственное...

Таким образом, вопрос о деталях механически отпадает. Затем особа спросила, кто же будет ухаживать за молодым мужем и вести его хозяйство. Я ответил, что, по моей теории, люди свободны в своем выборе и в своих решениях. И что вмешиваться в личную жизнь граждан, будь то даже родная дочь — я не имею права. Меня это не должно касаться и — не касается.

После этого она попыталась запугать меня законом. Ха! Законом! Закон — это не палка, которой может размахивать каждый. Моя милиция меня бережет, говаривал поэт. Закон создан для того, чтобы оберегать меня, а не наоборот. Только за спиной закона — можно быть спокойным. Только за спиной закона — истинная безопасность. Я все это ей и сказал. А особа посмотрела на меня, взяла пирожок последний, и пошла.

Я пожал плечами.

Бритва Оккама

"Сущности не должны
быть умножаемы сверх необходимости"

/У.Оккам/

Они хорошо быди видны в щель между пальцами. Я всегда смотрю на них, когда у меня дурное настроение или, наоборот, хорошее. А это значит, что я смотрю на них чрезвычайно редко. По характеру я человек спокойный, и резкие перепады настроения меня не мучают, или не радуют, если разнообразие в настроениях — радость. Я смотрю на них так редко, что никогда не узнаю их. Мне постоянно кажется, что это не они, а другие, хотя я отлично знаю, что они, и только они. Вокруг них постоянно бегают псы, так, никудышный, беспородный, дворняжкий какой-то, вопреки их утверждению, как то: что он порода, дворянин собачий, что где-то там, в секрете, лежат его данные: паспорт, медали, куча метрик или наград, ну, все ли равно, что подтверждает его незаурядную родословную. А псы все равно беспородный: тьякает, подвывает, шныряет неизвестно зачем, это раздражает очень. Смотришь в щель, а он туда-сюда, туда-сюда. Тогда не выдержишь, и сомкнешь пальцы. Глаза отдохнут, пальцы раздвинешь и опять смотришь. А они сидят на лавочке и беседуют. Старички глубокие. По вееру видно. Сейчас веером никто не пользуется, поэтому я и решила, что старички. Хотя, возможно, что и сумасшедшие. Ведь через забор гляжу, а за забором обычно сумасшедших держат. Правда, для них я тоже за забором, но я-то нормальная. Я это точно знаю.

И собака, может, их собственная, поэтому не кусается, хотя я уже говорила, что она мало похожа на собаку, которая знает, кого кусать можно, кого должно, а кого и не следует. Меня не следует. Однажды, когда я просунула сквозь щель палец, эта тварь бросилась ко мне с вполне прочитываемым на морде желанием укусить. К счастью, я вовремя успела взвизгнуть, и она, поджав хвост, остановилась поодаль. Таким образом я

спаслась. Подобным собакам замок на морду и кандалы на ноги, чтобы не смели ко мне подскакивать и пугать, когда я желаю в щель просунуть палец. Мой палец. Что хочу, то с ним и делаю. Если пожелаю быть укушенной, то могу и сама себя укусить. В конце концов только в этом и проявляется моя свободная воля.

Когда я смотрю на них, они кажутся постоянно разными. Я прекрасно понимаю, что многое зависит от погоды. В зависимости от погоды, они одеваются в разные одежды и обмахиваются разными веерами, под цвет, фасон и прочее своих нарядов. Поэтому и узнать их практически невозможно. Только чутьем. Нюхом. Каждый человек обладает своим запахом. Собственным запахом. Неповторимым. Кстати, в этом и проявляется индивидуальность человеческого большинства. При индивидуальном запахе каждого, другой человек с достаточно развитым обонянием всегда узнает друга, то есть я хочу сказать, всегда узнает человека, которого уже раз нюхал. Конечно, для этого нужна тренировка с детства, но ... любишь кататься — люби и саночки возить. Всегда, когда я раздвигаю пальцы-забор, я вижу их, чувствую их. Чувствую их запах. И запах собаки тоже. Иногда, когда мне очень скучно, я окликаю их, и они начинают вертеть во все стороны головой, пытаются меня найти. Но так как я не могу раздвинуть пальцы шире, чем могу, в эту щель помимо пальца пролезит только мой глаз, а они, разумеется, его увидеть не могут, несмотря на то, что он у меня очень крупный. Когда-то давным-давно я все им объяснила, но они все равно вертят головой, когда я начинаю беседу. Возможно не верят, а возможно забывают, в общем приходится объяснять им по новой. И так каждый раз. Каждый раз я им все объясняю, так как не могу начать беседовать с людьми, у которых голова вертится, а когда, наконец, приходит их черед говорить, времени уже не остается, потому что мне все это надоедает, и я смыкаю пальцы. Вот и сейчас мне уже надоело, так что — увь.

Общие рассуждения о портрете

Когда человек на той стороне улицы закурил, мы решили: — пора! Почему мы решили, что уже пора — понятия не имею, только решение пришло в голову одновременно всем. А раз всем, значит так надо. Просто так это или что-либо другое не приходит, никогда, а тем более одновременно. Мы посмотрели друг на друга и двинулись к выходу. Было нас не так уж и много. А если считать в натуральных величинах, так и совсем мало. Всего две величины: ОН и Я. Правда, каждый из нас вмещает в себя так много всевозможного, что когда я говорю о НАС, я не имею в виду число два, а имею в виду число много большее, возможно и все восемь. Да каких там восемь! Вовсе и не восемь. Только в самый немудрый день, он исчисляется в восьми. Вот вчера я насчитала в нем девятнадцать. Это только ОН, а еще Я. Себя я и не берусь считать, потому что бывают такие тучные дни, когда я — что дорог в миру!

Вместе мы уже добрых пять лет, а все вместе. Ведь это, отнюдь, не просто для такого человека как Я, да с таким человеком как ОН. А раз не просто, значит зачем-то. Я сторонница той концепции, которая утверждает, что: что ни случается — случается для дела, а иначе как же можно не заскучать? Поэтому и ОН для меня не ОН, а ОНИ, а иначе как же можно не наскучить?

Итак: Все одновременно двинулись к выходу и вышли на улицу. Было очевидно, что сегодня мы в большом количестве, а то прохожие не оббегали бы нас стороной и не шептали бы опасливо: неодобрительное. А мы все двигались в одном направлении, не внося предложений и не припираясь. Так двигались, будто заранее наметили путь и цель. Так двигались, будто нас двигают. Мне стало весьма странно. Я взглянула на своих попутчиков, желая проверить, одной ли мне весьма странно!

На лицах моих попутчиков была разлита полнейшая безмятежность /впрочем, и на моем лице была разлита полнейшая безмятежность/. По мере продвижения восвояси, в голову мою заползала догадка. Вот сейчас мы свернем за угол. /Ага, свернули/. А сейчас у красного дома перейдем трамвайную линию и войдем /вот, переходим/, и войдем в еще более облупленный дом с проходным двором /ага, вошли/, чтобы через него выйти на тихую дурацкую улочку и свернуть налево. Так и сделали. Ну вот! Догадка стала уверенностью! Я иду с уверенностью, что: мы-ша-га-ем-в-фо-то-гра-фи-ю. - Мы-безумно-же-ла-ем - и-меть-сво-ю-фо-то-гра-фи-ю.

В полутемной комнате фотограф предлагает выбрать фон. В наличии четыре фона : лошадь

собачка

три, вцепившихся друг в друга ангела
городской пейзаж. Я с друзьями вы-

брала лошадь. Он с компанией - ангелов. Мы тихо и безрезультатно пошептали друг другу о целесообразности и концептуальной эстетичности собственных фонов, потом плюнули на пол, отступились и совместили. Фотограф усадил нас, придал счастливости нашим позам и разместил фона: с моей стороны - лошадь, с его - ангелы, сзади - городской пейзаж с собачкой. Затем отошел, обманул птичкой и предложил ждать. Хорошо!!! Фотограф вышел, зашел и сказал, что снимки вышли неудачными: на наших фотографиях нет рук. Он сфотографировал нас еще раз. Хорошо!! Фотограф вышел, зашел и сказал, что снимки неудачные: на изображениях нет наших рук. Он сфотографировал нас еще. Хорошо! Фотограф вышел и сказал: вот беда, снимки без рук. Он сфотографировал нас. Ладно, ладно. А руки? Фотограф сфотографировал. Рук нет? Ждем. Фотографируемся. Фотограф зашел без наших рук. Фотографируемся. Зашел без рук. Фотографирует. Ждем. Руки где? Фотографирует. А рук нигде нет. О ж и д а е м

Рук нет

о ж и д а е м Д о ж и д а е м с я

Рук нет

Рук нет, нет,

о р т р е т а

Автобиография

Комната пуста. Только стулья. Большие и маленькие. И два стола. Большой и маленький. Если быть точной, в комнате еще присутствую я, но себя я не считаю. И не потому, что я — недостаточно предмет, еще менее предмет, чем стол или стул. Просто я — непостоянный предмет: иногда, отключаясь от настоящего времени, я забираюсь в далекое прошлое. Хотя мне только около тридцати, прошлое у меня достаточно богатое и разнообразное. Да и вообще, по мудрости и богатству ощущений я стою в ряду семидесятилетних. И это понимаю не только я. Все, кого я допускаю со мною знаться, констатируют: — "Бог ты мой, да ты — пожилая" — /по неопытности и деликатности не уточняя годы/. А я высчитала, что так, как я, может только семидесятилетний /ни годом раньше, позже/, да и то не всякий. У некоторых в этом возрасте еще молодость бурлит в голове, но это их беда, не будем о ней... А тот путь, которым я пришла к "своему" возрасту, дал мне возможность наслаждаться им уже целых 47 лет.

О своих ощущениях я расскажу чуть позже. Сначала расскажу, как я приспособила комнату для всего этого. Даже нет. Сначала расскажу, как я пришла к тому, чтобы приспособиться ко всему этому. Нет, лучше изложу ход моих рассуждений, разбавляя их случившимися со мной ощущениями /походы в прошлое/.

Начну с определения молодости. Что такое молодость? Молодость — это неосознанная энергия. Это действие без уверенности на результат. Это — надежда на результат. С исчезновением энергии исчезает надежда. И вот энергии не стало. Надеяться больше не на что. И остался человек пред фактом своей несостоятельности, так как ничего или многое не осуществил из тех планов, которые некогда перед собою

ставил. И подчас это бывает мучительно. Человек озирается назад и, анализируя, понимает всю напрасность зря потраченной энергии, хотя, с другой стороны, не в его власти было изменить что-либо. Экономия здесь невозможна. Само наличие энергетической данности и есть ее бездумная, лихая трата. А предположить, что ею можно было бы распорядиться иначе, — неверно, потому что с появлением этой данности, власть всецело переходит в ее руки. Так что бедное человеческое существо не может похвастаться даже своими ошибками. Он /человек/, до исчезновения энергии, щенок на поводу, и что бы с ним не произошло, не имеет никакого отношения к его свободной воле. Увы.

Как вот, чтобы перепрыгнуть этот бесполезный кусок жизни, нужно избавиться от энергии. Я это поняла, к счастью, достаточно рано, чтобы попробовать осуществить свой замысел. Да это ушло несколько лет, зато результат превзошел мои ожидания. Сейчас я ни на что не надеюсь, и благодаря этому у меня появилось время для размышлений. Моих размышлений не искажают мечты. Мои размышления чисты. И ощущения — тоже. С высоты своего искусственно приобретенного возраста, я могу судить о настоящем. Я могу судить о нем с высоты великой незаинтересованности. Еще я могу забываться, и, ничего не боясь, уходить надолго и далеко в прошлое, и в зависимости от установки черпать там радость или грусть... Таким образом я развлекаюсь. И это, поверьте, полезнейшее из развлечений, потому как дает пищу моим мыслям, увлекая их в дебри временного пространства, например:

Когда я вошла в комнату, он сидел на диване. Мы посмотрели друг на друга и вышли из дому. Проводив его к месту работы, возвратилась домой. Когда я вошла в комнату, он сидел на диване. Я извинилась и мы вышли из дому. С непонятной сдержанностью, я тащила его за собой. Затем, на что-то сославшись, поспешила домой. Так и было. Когда я вошла в комнату, он сидел на диване. Я почувствовала себя виноватой

тавил. И подчас это бывает мучительно. Человек озирается назад и, анализируя, понимает всю напрасность зря потраченной энергии, хотя, с другой стороны, не в его власти было изменить что-либо. Экономия здесь невозможна. Само наличие энергетической данности и есть ее бездумная, лихая трата. А предположить, что ею можно было бы распорядиться иначе, — неверно, потому что с появлением этой данности, власть всецело переходит в ее руки. Так что бедное человеческое существо не может похвастаться даже своими ошибками. Он /человек/, до исчезновения энергии, ценюк на поводу, и что бы с ним не произошло, не имеет никакого отношения к его свободной воле. Увы.

Так вот, чтобы перепрыгнуть этот бесполезный кусок жизни, нужно избавиться от энергии. Я это поняла, к счастью, достаточно рано, чтобы попробовать осуществить свой замысел. На это ушло несколько лет, зато результат превзошел мои ожидания. Сейчас я ни на что не надеюсь, и благодаря этому у меня появилось время для размышлений. Моих размышлений не искажают мечты. Мои размышления чисты. И ощущения — тоже. С высоты своего искусственно приобретенного возраста, я могу судить о настоящем. Я могу судить о нем с высоты великой незаинтересованности. Еще я могу забываться, и, ничего не боясь, уходить надолго и далеко в прошлое, и в зависимости от установки черпать там радость или грусть... Таким образом я развлекаюсь. И это, поверьте, полезнейшее из развлечений, потому как дает пищу моим мыслям, увлекая их в дебри временного пространства, например:

Когда я вошла в комнату, он сидел на диване. Мы посмотрели друг на друга и вышли из дому. Проводив его к месту работы, возвратилась домой. Когда я вошла в комнату, он сидел на диване. Я извинилась и мы вышли из дому. С непонятной нервозностью, я тащила его за собой. Затем, на что-то сославшись, поспешила домой. Так и было. Когда я вошла в комнату, он сидел на диване. Я почувствовала себя виноватой

и забормотала, оправдываясь. Мы вышли из дому. Проводив его до угла, я не выдержала и, наскоро попрощавшись, бросилась домой. Когда я влетела в комнату, он сидел на диване и с беспокойством поглядывал на часы. Мне стало очень скверно. Я села и стала бестолково и много объяснять. Он прервал меня и попросил проводить. Я отказалась. Тогда, одарив поцелуем, он поспешил уйти. Я заперла дверь изнутри, легла и закрыла глаза. Полежав немного, почувствовала поцелуй на лице, шее. Это был он. Как ты вошел? Как? Позволь, мы же вместе выходили и вместе пришли. Выходили за свежей рыбой. За свежей рыбой. Я вспомнила рыбу, покупку двухмесячной давности. С тех пор рыбы в доме не было. Я встала посмотреть на кухне рыбу. Рыбы не было. Рыбы нет! Он вошел в кухню и указал на рыбу, лежащую в углу. Мы возвратились в комнату. Он сел за стол и принялся рисовать. Я уже видела этот рисунок. Он, как и рыба, был двухмесячной давности. Твой рисунок глуп! Он сказал, что рисунок мне понравился. Когда? Да только что. Я закричала, что не только что, а давно, давным давно, много лет назад. Он взглянул на меня и вдруг сообщил, что глаза у меня синие. Я взяла зеркало. Глаза были синие. Пальцы, держащие зеркало — с маникюром. Длинные ногти покрыты красным лаком... Я закрыла глаза и почувствовала поцелуй на щеке. Открыв их, увидела нас стоящими на улице. Направляясь домой, ощутила обычную тоску расставания. Когда я вошла в комнату, он сидел на диване.

Уходить в прошлое хорошо еще тем, что оно полностью в моей власти. По своему усмотрению я могу его сокращать и растягивать. То есть, здесь моя власть неограничена. И это единственное, где она неограничена. Где она вообще существует. Моя власть. И это вовсе не поиск утраченного. Это наслаждение настоящим и уход в будущее. Потому что воспоминание — это будущее. Будущее всех. И чем дальше в возраст — тем ближе к будущему, к бесконечности. Однажды я уже побывала там, но меня вернули. Кое-что я успела ощутить и запомнить. Иногда я ухожу в это ощущение. Оно любопытно:

Мое тело вертели. Вертели во все стороны. Что-то искали. Затем приехали родственники и шептали. Затем стало тихо и темно. Тепло. Запах свежей земли и еще какой-то. Что-то ползает и щекочет ступни. Хочется дернуться и хохотнуть, но сдерживаюсь. Лежу и жду. Иногда возникает почти непреодолимое желание потрогать свои ноги, но сдерживаюсь. Лежу и жду. Хочется курить. А они щекочат все сильнее и терпеть становится невозможно. Попробую отогнать. Пытаюсь двинуть большим пальцем, но не чувствую движения. Сомлел. Придется растирать. Думаю, что лучше: подтянуть ногу к себе или сесть и дотянуться рукой. Пожалуй, лучше сесть. Тогда смогу изгнать их и из под мышек. Но что-то давит со всех сторон и мешает двигаться. Опираюсь обеими руками и пытаюсь повернуться. Руки натыкаются на мягкую живность, молча выдвигаясь из ладоней. Еще немного и двинусь с места. Напрягаюсь изо всех сил и чувствую, что кожа на лице лопаётся. Сначала пугаюсь, но не ощутив боли, успокаиваюсь. Опять собираю силы и пытаюсь повернуться на бок. Кожа лопается в области живота, но меня это уже не пугает и не волнует. Волнует только одно — повернуться набок. На секунду отвлекаюсь и пробую представить себе звук лопнувшей кожи, и дальше, упираясь во что-то, пытаюсь двинуться с места. Надо отдохнуть, а потом — рывком... Пока отдыхаю, соображаю, что не знаю, на какой бок повернуться: на правый или на левый. Начинаю анализировать каждый и холодею от ужаса. Я не знаю, где какой бок! Не могу сориентироваться! Пытаюсь вспомнить какой-нибудь предмет и руку, держащую этот предмет. Например, нож. Режу хлеб. Пробую резать то одной, то другой — разницы нет. Пытаюсь вспомнить что-то такое, что только для одной руки, и не могу. Предмет только для одной определенной руки. Я же его знаю. Еще чуть-чуть и он — перед глазами, но он уходит. Лопаются глаза. Опять пугаюсь, но тут же вспоминаю, что здесь темно, и они мне ни к чему. Мне нужен предмет для одной руки. Может, не думать о нем, и он всплывет сам? Пытаюсь избавиться от этого предмета.

Интенсивно. Пытаюсь думать о чем-нибудь другом. О ногах! Буду думать о ногах, о которых совершенно забыла. Вспоминаю щекотку в ступнях и, прислушавшись, чувствую, что она переместилась выше, к щиколоткам. Это хорошо. Очевидно, у них тенденция перемещаться вверх, и, когда они подползут к рукам, отогнать их будет совсем просто.

Я уже говорила вначале, что перепрыгнула огромный и бесполезный кусок жизни. Перепрыгнула 50 лет. Прыжок длился 3 года. И это было не просто. Ох, как не просто. Сейчас я все расскажу /вкратце/ на тот случай, если найдется желающий наследовать мой опыт. Начну с разъяснения, что такое энергия, а затем перейду и на то, как с нею справляться.

Энергия — — деятельность, одно из основных свойств материи. Более того. Энергия — субстанция, а не атрибут человеческой жизни. Она и есть жизнь, зерно жизнетворчества, развертывающееся в огромный жизненный организм, при долгом взглядывании в это зерно.

Человеческое существо — антиномично. Оно сопрягает в себе две субстанции, которые находятся в вечном противоречии с одной стороны и в невозможности создать друг без друга Ф О Р М У человеческую — с другой стороны. Это субстанция энергетическая /энергия/ и субстанция духовная /сознание/. И как бы близко они ни были связаны между собой, они не могут быть сведены друг к другу. И как бы различны они ни были бы по выражению, они не могут существовать вне друг друга. Они обе как существуют так и различимы во времени и пространстве. Они и есть время и пространство /человеческого существа/.

Моя задача состояла в том, чтобы поломать закодированный свыше ряд моего существования. А для этого надо было одну субстанцию свести к минимуму, а вторую раздуть до невероят-

ности, то есть оставить той же, но так, чтобы не распалась их общая ФОРМА. Проще говоря, мне нужно было так распределить энергию и поставить ее в такой зависимости от сознания, в какой находятся эти две субстанции в семидесятилетнем.

Если сравнивать энергию с организмом, можно сказать, что строение ее трикотомично. Разумеется, деление это весьма условно. Эти "части" в вечном движении, постоянно "въезжают" друг в друга, и каждая из них находится во всех, и все — в каждой. Вот, три части энергии, которые я называю усилиями, названием наиболее, на мой взгляд, соответствующим их сути:

1. — усилие механическое
- II. — усилие физиологическое
- III. — усилие психологическое

Внешнее проявление, любое, объединенная работа всех трех усилий — движение, "чистое действие", то — что видимо. Усилие механическое — это кожа энергии, которая непосредственно соприкасается с внешним миром. Это то, что первично для окружающих и, конечно, для нее самой.

Но самого по себе "чистого движения" быть не может. Оно должно быть чем-то "спровоцировано", откуда-то братья. Если вы оторвете руку и положите ее на стол, рука яблоко не схватит. Необходимо, чтобы она была связана с тем усилием, которое производит действие. Значит, для того, чтобы рука опустилась, поднялась, схватила яблоко, дала по морде, надо подключить нечто: физиологическое усилие. Нужна работа мышц. Мышца сокращается — рука поднимается, мышца расслабляется — рука опускается. Следовательно, "чистым движением" руководит мышца. Ну, а мышцей кто? Для того, чтобы мышца именно сократилась или именно расслабилась, то есть произвела нужное действие, а не действие вообще, требуется тот аспект энергии, который называется психологическим. Психологическое усилие дает "указание" мышцам на то или иное действие. А психологическое усилие неотделимо от первичных психических

элементов, мотивирующих самое психологическое усилие. х) /.
Значит, для того, чтобы рука дала по морде, для того, чтобы энергия "проявила себя" требуется объединение трех усилий: психологического, физиологического, механического.

Отсюда вовсе не следует, что организм энергии ограничивается перечисленными усилиями. Это только основной костяк ее жизни, основная детерминированная нить /красная нить/. Энергия - это синтез всех видов усилий, которые неразрывно связаны и постоянно перетекают друг в друга.

Это общая характеристика структуры энергии. А вот для того, чтобы эта энергия отличалась от другой, например: моя от вашей - существует сознание - душа энергии. Общими словами о "душе энергии" можно сказать так: живая и разумная энергия приобретает смысл, становится индивидуально значащей, когда в игру вступает субстанция духовная. Она непрерывно колышется, переливается всевозможными красками; она непринудительна, неустойчива, прихотлива и свободна, а потому - личностная: индивидуальна и субъективна /от субъект/.

Для выполнения моей задачи нужно было аккуратно, дюйм за дюймом уничтожить большую часть энергии и некоторую часть сознания, в частности ж е л а н и е. Первые мои шаги были таковы: я стала убивать энергию так, как убивают все живое. Я перестала себя кормить, почти перестала /разве что чуть-чуть орехов с медом/. Все понимают, что такое для человека е д а, для его способности к движению. Так вот, я перестала себя питать. И старалась все время лежать, т.е. сделать лежание своим неизменным времяпровождением, чтобы мышцы мои, одряхлевая, отвыкали "жить", что в вашем понимании - двигаться. Ведь многолетняя привычка мышц к моторности - не пустяк. Одновременно я взялась и за желание.

х) Это и есть та самая точка соприкосновения и взаимопроникновения двух субстанций в одной Ф О Р М Е.

Сейчас, очень коротко расскажу, что это такое.

Когда изучается какая-нибудь сложная область явлений, то всякому детальному изучению предшествует классификация или группировка /таксономия/ этих явлений. Точно так же классифицируются и явления сознания, т.е. субстанция духовная. Но так как субстанция духовная, или душа, или сознание иначе, не есть материальное нечто /я так считаю/, то и группировать я буду не сами явления, а причины, факторы в основе этих явлений.

Еще в 18 веке Христман Вольф создал и подробно разработал учение о "способностях души". Правда, с его классификацией я не согласна, но он очень помог мне в изучении этой сложнейшей из субстанций и в составлении моей собственной классификации, единственно правильной. Утверждать столь категорично берусь лишь потому, что удача сего эксперимента и многолетняя жизнь в возрасте семидесяти семи /77/ лет дали мне на это право. Как-никак, я уже 45 лет живу в этом прекрасном возрасте и надеюсь прожить еще, как минимум, столько же.

В силу того, что подробная классификация сознания не является в данном случае моей темой, я очень коротко набросаю основные "способности души" х), чтобы было понятно, зачем и как бороться с желанием.

Если представить сознание, так же, как и энергию, в виде целого организма, то так же, как и энергию, организм сознания /души/ можно условно разделить на три группы, иначе - способности:

- I. способность познавательная /ум/
- II. способность чувствования /эмоции/
- III. способность желания

х) Термин Христиана Вольфа.

Каждая из этих групп имеет по пять мотивов. х) И группы, и мотивы подчинены двум "силам", внутрисубстанционным субстанциям. Я считаю, что наиболее точным названием для них будет: локальные субстанции. Слово локальность — ограничивает сферу их деятельности, а слово субстанция — вкладывает в них то основное, что они в себе несут.

Локальные субстанции: 1. бессознательное /первичность/
II. сознательное /вторичность/

Так как сейчас речь идет о группе "способность желания", то локальными субстанциями "способности желания" будут:

Первичное — удовольствие или неудовольствие, чувственное влечение или чувственное отвращение, аффекты.

Вторичное — хотение или нехотение, т.е. — свобода выбора.

Из этих двух локальных субстанций в "способности желания" мне надо было уничтожить первую и оставить вторую. Оставить свободу выбора. Оставить свободу выбирать то хотение, которое хочет, чтобы его оставили в покое и не заставляли хотеть. Это оказалось очень трудно, самым трудным из всех моих трудностей. Мне надо было убить первичное через вторичное. Для того, чтобы убить в этом пункте бессознательное, мне пришлось очень долго работать с сознательным. Так долго, чтобы через сознательное "просочился яд" в подсознательное. И я стала упорно работать: скрупулезно изучать; разбирала, расчленяла, классифицировала человеческие особи и, отбросив собственную к ним слабость, пришла к выводу /я так долго копалась в этой пакости и так глубоко залезла, что вывод мой таки проник в подсознательное/, что самое прекрасное тело — ничтожно. /А почти все тела — препротивные/. А в ничтожном теле — дух ничтожен. Ибо не может быть в дурацкой форме недурацкий дух. Ибо первое порождает второе, а никак не наоборот, как у некоторых почему-то принято. /Во всяком случае в созданиях сотворенных, таких как: люди, рыбы, птицы, рептилии и т.д., а не вечных/.

х) К мотивам относятся: интуиция, воображение, восприятие, мышление, память и т.д.

Итак, в хронологическом порядке в шкуре кроликов или крыс /кто с чем работает/ пошли в ход мужья, близкие родственники, родственники, близкие знакомые, просто знакомые, незнакомые, мои современники, современники мамы, современники бабушки, прабабушки, прапрабабушки, лица, которые канули в вечность, лица, которые канули в вечность в далекой древности, короче, все лица канувшие и не канувшие.

Вследствие того, что этот эксперимент я провела первая и впервые, он прошел не совсем гладко, что вполне естественно, если учесть, что и идейным руководителем, и исполнителем, и подопытным /человеком во трех лицах/ была я одна. Так, например, кое-что не рассчитав, я на некоторое время потеряла память. Это могло закончиться для меня трагически, но, к счастью, обошлось. И даже напротив. Благодаря временной и почти полной потере памяти, я вывела формулу памяти. Ее суть. А суть памяти - в ее парадоксе. Парадокс в том, что память фиксирует не "чужое снаружи", а "свое внутри". Не факты, а отношение к фактам, только отношение. Соответственно, помнишь не то, что видишь, а то, как чувствуешь. Получается, что в зависимости от темперамента, меняется суть события. А так как человек и есть порождение этих самых происшедших событий, он не может смотреть на них отстраненно, и реальность воспринимается в искаженном виде, причем в самой худшей разновидности искажения - в субъективном искажении. То есть, сколько свидетелей данного события /сколько событие породило свидетелей/, столько искажений. В результате - события, как факта, не остается. И люди, не сознавая этого /ибо усомниться в себе еще более немислимо, чем отстраниться/, с остервенением навязывают друг другу несуществующие факты.

Суть моего парадокса - очевидна. И когда я решусь вынести свою формулу на суд все тех же людей, каждый сможет это легко проверить.

Конечно, свое открытие я пока держу при себе, стараюсь не очень распространяться. Страшно отдать его человечеству. Ведь формула моя делает историю — чушью! И философию — чушью! И идеологию — чушью! Ну а то, как будут относиться к моему эксперименту, да и к самой формуле, вот вы, например, — чушь! Ну а все прочее? Моя формула, например, объясняет, почему человеческая эволюция, которая длится миллионы лет — называется одним мгновением /ничего себе мгновение/, и почему замедленное человеческое развитие сравнивается с бесконечностью вечности. Короче, моя формула кое-что объясняет, даже очень многое объясняет. Во всяком случае, м н е — объясняет.

А теперь попробую описать состояние почти полной потери памяти, т.е. того момента, когда она начала возвращаться небольшими рывками. Попробую описать то состояние сегодняшними словами. Тогда:

Сегодня мне приснился сон /он в сноске/. И важно то, что я его помню, и все то, что было во сне — помню, я имею в виду предметную сторону сна. Я даже почти уверена, что это была собака, а не другое животное. А вот все остальное...

Сон: Тварь, которая металась в бутылке, была собака. Я твердо уверена, что собака. И бегала серая собака в серой бутылке. /Кажется, зеленая собака в зеленой бутылке/. И было ей скучно. Еще она выла. И смотрела зеленая собака на меня водянистыми глазами и с языка ее стекала зеленая слюна. А может серая слюна, если бутылка была серая. И схватила я тогда собаку за язык и стала тянуть, пытаюсь протолкнуть ее через узкое горло бутылки. И не пролазила голова собаки через горло бутылки. И пустила я ее сожалея. Пустила язык собачий. И с грустным всхлипыванием плюхнулся язык собачий в собачью пасть. А собака шлепнулась на дно бутылки и села. Села на зад — на задние лапы, скуля...

Зафиксировать день сегодняшнего сна не могу, потому что не помню, не знаю, сколько мне лет и не помню, чем исчисляется время. Знаю только, что сейчас я седая. Правда, седеть я начала задолго до своего рождения. Помню, когда я родилась, все лицо мое было покрыто тонким слоем волос. Сквозь них все вокруг было серисто-серое. Отсюда я и заключила, что родилась уже седой. Когда меня очистили, я тут же все забыла. Стало быть, сколько мне лет — не знаю: может десять, двадцать, тридцать, может много больше. Сориентироваться по внешнему виду не могу, потому что не помню, как люди выглядят в своем временном развитии. Возле меня постоянно кто-нибудь находится и что-нибудь делает. Их много и все, очевидно, разные. Запомнить, кто из них кто — для меня невозможно. Знаю только, что среди них есть противоположно друг другу — люди. Заключаю из того: при одних можно делать такое, что при других — ни в коем случае. И наоборот. Это безумно трудно запомнить, потому что для меня они все на одно лицо. Да я бы и не старалась, но меня неизменно наказывают за то, что я забываюсь и делаю не то, что подобало бы при каких-то из них. И это самое мучительное. Я беспрерывно живу в страхе. Я беспрерывно боюсь, что делаю не то, не так, и в наказание мне не дадут есть. А мне иногда дают есть. И это всегда — наслаждение. Настолько острое, что я запоминаю: это — еда. Иногда меня купают, и тогда я вспоминаю свое рождение. Сам момент рождения, когда густо-лиловое что-то переходит в серебристо-серое что-то... Вода такого же цвета, как и мои волосы. И люди такие. И серебристо-серые люди хлопают меня по серебристо-серому телу и орут, что я родилась в рубашке.

Кстати, для того, чтобы тело стало вялым и желтым /еще одна причина не демонстрировать его окружающим и тем побороть соблазн/, желательно вечно находиться в плотной, синтетической, наглухо застегнутой рубашке, или какой-нибудь другой подобной одежде, чтобы воздух не проникал к порам. Чтобы

тело задыхалось. Задохнулось. Это очень полезно для общего состояния. Со временем вообще пропадает охота двигаться и что-либо предпринимать. Остается лишь одно желание, чтобы оставили в покое и не мешали. Не мешали жить. Это я говорю о тех, которые терзаются, придумывая и преодолевая жизненные проблемы и препятствия. И которые все равно не поймут ниши ни меня, ни моих советов, точно так же, как они не понимают себя и друг друга.

- Чего ты плачешь?

Я? Разве я плачу? Я смеюсь.

И он засмеялся.

- Но ведь ты только что плакал, почему?

- Разве я плакал? У меня же сухие щеки.

Щеки были сухие.

- А почему ты смеешься?

Я? Разве я смеюсь? Я думаю.

И он задумался.

- О чем же ты думаешь?

Я? Пытаюсь понять, почему плачешь ты.

Я? Плачу? У меня же сухие щеки.

- Они у тебя мокрые.

- Это твои слезы остались на моих щеках.

- Нет, не мои. Мои слезы имеют другой вкус.

Я облизнула себя. Слезы были мои. Я испугалась. Он спросил:

- А сейчас ты смеешься. Почему?

Я? Я не смеюсь. Я боюсь.

- Разве так боятся? Посмотри на себя в лужу.

Я посмотрела на себя в лужу. Мое лицо улыбалось.

- Но мне совсем не смешно. Мне немного страшно.

- Ты такая большая. Разве большим людям бывает страшно? Даже если страшно только немножко?

- Конечно бывает. Еще как бывает. Вот мне, например. А ты кто?

- Знаешь, когда я тебя увидел, я сразу же подумал, что ты непременно все напутаешь, а ни с кем не согласишься спорить.

— Я никогда ничего не путаю.

— Но ведь меня-то перепутала, а я не поспорил.

— Ничего не перепутала. Вначале ты плакал, потом смеялся, потом думал, а потом мне стало страшно. А ты кто?

— Ну вот видишь, ты все перепутала. Я не смеялся, не плакал, не думал. Меня же нет, а ты думаешь, что я есть. Я бы выиграл, если бы поспорил.

— Раз ты стоишь передо мной, значит есть.

— Я просто притворяюсь, будто есть, на самом деле меня нет. Если не веришь, можешь дотронуться, и ты почувствуешь, что ничего не почувствовала.

Я попробовала дотронуться до него, но моя рука ничего не ощутила. Мне стало очень страшно.

— Но ведь я тебя вижу.

— Ничего ты не видишь. Ты опять перепутала. Меня же нет. Как ты можешь меня видеть?

— Но я разговариваю с тобой. Значит ты есть?!

— Вот видишь, ты опять напутала. Если меня нет, как же ты можешь со мной разговаривать?

Но я разговаривала. Я это хорошо помню. Ведь это он посоветовал мне облизнуть щеки и убедиться, что плакала я, а не он. И тогда я узнала, что слезы разных людей имеют разный вкус. И сейчас, после того, как я вступила в свой семидесятилетий возраст, я поняла, что тогда он б н л. И, что тогда он п л а к а л. И что тогда, все-таки, его слезы попали мне на язык, иначе как бы я смогла определить разницу в слезах, во вкусе слез? И с тех пор я его жду. Из своей комнаты я выбросила все вещи, чтобы они не отвлекали меня и не заставляли за собой ухаживать. Остались только самые необходимые. Осталась только мебель для меня и для него. Комната стала почти пуста. Только стулья. Большие и маленькие. И два стола. Большой и маленький.

ТРАМВАЙНАЯ ОСТАНОВКА

Меня всегда тянуло на трамвайную остановку. Я мог часами смотреть на подъезжающие трамваи, которые всасывали в себя массу людей и отъезжали в разных направлениях. Мне было непонятно, зачем люди едут, а не идут или стоят. Зачем они едут куда-то и какие у них могут быть дела. Я смотрел на этот копошащийся муравейник, скопом лезущий в дребезжащую коробку и испытывал чувство брезгливости, представляя, как они жмутся друг к другу, как пот их смешивается в мерзкую дурно пахнущую патоку. Страх оказаться в этом скопище был сильнее меня и я стоял на остановке часами, боясь приблизиться... Моя отделимость доставляла наслаждение избранности и я часами смотрел на остановку, испытывая благодарность, смешанную с презрением.

А комната была наполнена вещами. Они жили своей жизнью не желая моего приобщения к ней. Их отчужденность окружала меня таким плотным кольцом, что ~~порывшись~~ прорваться не представлялось возможным. Сопротивление было упорным и что бы я ни делала, сродственной им себя не чувствовала. Моя навязчивость злила их и тогда они царапали меня и больно били. Рвались из рук и стонали даже при легком прикосновении. Тогда я бежала на трамвайную остановку и наслаждалась нехрупкостью человеческого существа, наслаждалась его грубостью и равнодушием ко мне, его мимолетным, безразличным любопытством. Садилась в трамвай и наступала на ноги, не боясь, что они треснут, толкала широкие, плоские спины. Наслаждалась реальностью плотской жизни и страшилась неудовлетворенного желания попасть в зыбкий мир моей комнаты.

Трамвайная остановка была моим спасением. Я садилась на корточки и смотрел на ноги. На это множество ног. На эту толпу ног. Они были различны по форме и плотности. Это были

не ноги, — это были отростки, которые двигались и жили сами по себе. Я боялся этих отростков. Я боялся этой колонии всевозможных отростков: от маленьких и тонких до больших и пухлых. Они толклись на небольшом отрывке плотности и я постоянно боялся, что они прорвут невидимую черту, разделяющую нас и хлынут, хлынут на меня и раздавят своей массой. И только в подсознании билась мысль: пусть это будут плоские подошвы, а не подошвы с тонкими каблуками. Затем они исчезали, вливаясь в дыру трамвая. Я вставал во весь рост, покрытый холодным потом. Вставал и шел, вглядываясь в ничего не выражающие лица, от которых ждать мне было совершенно нечего. Только на трамвайной остановке я жил, боясь за свою жизнь.

Страх за свою жизнь жил во мне постоянно и я уже настолько сросся с ним, что относился к нему без должного внимания. Гораздо сильнее мучило сознание моего небытия. Находясь дома, в полном одиночестве я терял ощущение себя как физического существа и превращался в какую-то выдуманную форму, выдуманную чьим-то изощренным умом, или кому-нибудь приснившийся. Возможно я был просто чьей-то выдумкой и кто-то прифантазировал мне мое тело, обладая другим. Я мучился своей несхожестью с окружающим и терял ориентацию в происходящем или существующем настолько, что в ужасе бежал из дому, отыскивая подтверждение своей принадлежности к этому миру. Таким подтверждением была трамвайная остановка. Глядя на людей, празднично шатающихся в ожидании, я ждал, что они начнут глазеть на меня, как на совершенно инородное им существо, подтверждая безвыходность моего одиночества, но случилось не так: я не вызывал в них никакого интереса, или даже любопытства. Они обходили меня, если я стоял на дороге и извинялись, если задевали локтем. И в их безразличии к себе, я обретал реальность своего существования.

Принцип катушки

Когда у меня заболел глаз, я все понял и заплакал. Может быть только третий раз в жизни. Первые два раза я плакал:

1. /раз/ Это случилось: У мамы начались схватки под страшный вой, шедший из ее живота. /Вероятно, я уже там чувствовал, куда меня собираются вытащить/. С этим воем я и появился. После рождения — все тот же непрекращающийся вой и зудящее лицо, от постоянно проживающих на нем соленых слез. Три года спустя, без видимой причины, вдруг, я — заткнулся, умолк вплоть до второго раза.

2. /раз/ Это произошло полтора года назад. Я попал в нескончаемое кольцо проблемы "Вечность-Бесконечность" и никак не мог из него выбраться /у кольца нет выхода/. В панике я разрыдался. Слезы успокоили мои нервы и отодвинули в сторону страх, плотно усевшийся на мое сознание. Избавившись от груза, голова заработала ясно и четко, результатом чего явился спасительный принцип, названный мною "принцип катушки". Этот принцип не только меня спас, вернув на землю, но и дал в руки человечеству метод по борьбе с безвыходными /а значит вечными/ положениями. Сейчас коротко объясню, что это такое:

Представьте себе вечность. В ином виде нежели окружность — вы представить ее не сможете. Потому что лишь кольцо может дать наглядное представление о том, что что — то может не иметь конца /а равно и начала/. А теперь приложите в этой окружности что-нибудь конечное, любой предмет и вы увидите, насколько они несовместимы /окружность-вечность и предмет, с началом и концом, а еще проще: представьте себе — себя — на этой окружности. Видите, как нелепо и смешно вы на этой бесконечной плоскости. Но главное не в

том как вы смотрите /а смотрите вы прилипшим комочком, прыщиком/, а зачем вы там нужны. Ведь человечество и вечность — разные субстанции. Генетический принцип их жизни и бытия — различны. Различны по существу. Человечество, т.е. вы — порождение конфликта, скандала. Бесконечность /окружность/ — спокойствие, тишина. Да и внешность этих двух субстанций отвечает их нутру: вы — из углов и резких, разных окончаний; она — ровная, гладкая, "без сучка и холмика". Но вернемся к главному: зачем вы там? Очевидно затем — зачем прыщик на вашем лице /выход шлаков. Не думаю, что вы еще для чего-то годны/. А для того, чтобы вы /ну пусть я, если вам так обидно/ так долго не болтались /пока живете, все равно болтаетесь/, вам Богом положен конец. В этом и заключен принцип катушки: на бесконечное кольцо накладывается конечная ситуация. /Катушка с ниткой/. /Вы — нитка/. И когда я это понял, я /конечная ситуация, увн/ вышел из КОЛЬЦА, так и не решив проблемы "Вечность-Бесконечность", но сделав по направлению к ней первый шаг и назвав этот шаг — Принцип Катушки.

Так вот, когда у меня заболел глаз, слезы потекли третий раз.

Я подсчитал убыток, который терпит человечество, если хотя бы у одного его представителя болит голова. А если у представителя болит нечто более серьезное, нежели голова? Глаз, например? Убыток от того, что у меня болит глаз — чудовищен. Я даже не осмеливаюсь назвать цифру. Каждый, кто прочтет эту цифру — пошатнется. Даже очень большой и сильный физически мужчина — пошатнется. Не пошатнется только /может быть/ какой-нибудь антипод человеческий, какая-нибудь многоножка. Да и то не пошатнется лишь потому, что у нее множество ног, да таких коротких, что живот постоянно лежит на земле, если она стоит, или волочится, если она тащится. Так что ей просто некуда шатнуться. И еще: я не называю эту чудовищную цифру, чтобы не навязывать человечеству

лишний моральный груз. Понесу сам! Пусть! Каждый человек обязан нести! Пусть этот груз будет моим крестом! Я несу крест! Впрочем, я несу два креста. В каждой руке по кресту. Первый крест — мой правый глаз; второй крест — мой левый глаз. Откуда они свалились на меня — сейчас расскажу на удивление потомству, любому потомству, и нечеловеческому в том числе. Даже скорее на удивление именно нечеловеческому. Я не уверен, что человеческое — еще способно удивляться.

Оно какое-то придурковатое.

Однажды я решил пойти в музей. Я всегда хожу в музей, когда хочу поменять настроение. Одна на другое. А в музее я имею возможность поменять настроение шестнадцатью различными способами, причем десять из них — первокласснейшие. Я еще напишу книгу, которая будет называться:

"Музей — базар настроения"

Итак, решив идти в музей — иду. Беспрепятственно прошел к самому зданию, как вдруг, на свое несчастье, обратил внимание на старушку, которая сидела на ступенях ~~музея~~ и, как мне показалось, просила милостыню, даже не просила, намекала, что ей можно и нужно подать.

Она была жухлая, жухлая. Я подумал, что будь она чуть поменьше, можно было бы привязать ее к палке и продавать, будто увядший букет, по дешевке. Впрочем, вряд ли бы ее кто купил. Разве что слепой, идущий на свидание...

Подшел я к старушке и сказал, что она, очевидно, приняла это внушительное здание за божью обитель, а это не так. Далеко не так. Это совсем другая обитель. И милостыню здесь не дают. Старушка в это время держала открытым носовой платок, в котором, однако, накопилась внушительная кучка серебряных монет /среди них и моя, двадцатикопеечная/. Она трогала их пальцем и, считая, шевелила губами. Когда я заговорил с ней, она вдруг замерла, как большой жучок, кото-

рого тронули большой травкой и он мгновенно запритворился дохлым. И так сидела она, не шевелясь несколько секунд, потом стала медленно поднимать левый глаз /веко/. Веко подымалось так медленно, что прежде чем ее левый глаз уставился в мой правый, я успел разглядеть блеклое, в темных точечках глазное яблоко. Пока левое веко подымалось, правый глаз продолжал шевелиться считая мелочь, а пальцы складывали в стопочки — монеты одной стоимости. И вот веко поднялось настолько высоко, что появился, наконец, зрачок, вцепившийся намертво в мой правый глаз. Мне стало не по себе. Я еще никогда не видел, чтобы глаза занимались разной деятельностью. Сначала я даже заподозрил, что она сумасшедшая. А старушка торопливо досчитала свои копейки, замотала их в платок и спрятала куда-то в себя. Правый глаз ее закрылся. Вероятно, старушка его утомила и дала пока отдохнуть. Левый же пристально глядел на меня. Набравшись духу, я спросил старушку как и где она научилась так манипулировать своими глазами и она объяснила: если бы я чем-нибудь очень дорожил и боялся это потерять, я бы с этого не спускал глаз, как не спускает глаз гордый орел с бегущего зайца, которым хочет накормить своих детей. Но зайцы — твари бегущие, поэтому за ними надо следить двумя глазами, а мелочь — предмет стоящий, поэтому хватает и одного глаза.

И тут мне в голову пришел мой рок: Я подумал, что если научиться так вертеть глазами, я смогу устраивать любопытнейшие ситуации. Я смогу безнаказанно сводить с ума начальство и доводить до визга женщин. И еще многое чего смогу. Главное — научиться.

И вот я учусь. Уже три месяца учусь. Старушка живет у меня на полном иждивении и с утра до вечера крутит глазами. А у меня почти ничего не выходит. С трудом научился смотреть одним глазом, другой держа закрытым. А так оказывается, умеют делать все. А сегодня у меня в правом глазу со страшной болью что-то треснуло. Старушка говорит, что это очень хорошо. Она говорит, что лопнуло то самое, что не давало гла-

зу крутиться /кстати, глаз все равно не крутится/. А я думаю, что это очень плохо, потому что глаз болит невероятно как. И уже начал болеть второй. Чем это кончится - господь его знает, но мне кажется, что пошла разматываться моя ниточка. И я заплакал. И вот я плачу третий раз. Плачу, плачу, плачу, плачу.

Пойдем дальше

"О чем невозможно говорить, о том следует молчать", — так закончил Витгенштейн свой логико-философский трактат, доказав этой формулой свое проникновение в суть жизни человеческого. Разумеется, меня тут же спросят, о чем говорить невозможно. А я отвечу: обо всем, о б о в с е м говорить невозможно и открою дебаты, которые подтвердят гениальную очевидность этого утверждения.

Прежде всего напрашивается вопрос: к чему открывать дебаты, если это всем очевидно. Во-первых: не всем э т о очевидно
во-вторых: дебаты открываются не для того, чтобы найти объективное очевидное, а для того, чтобы доказать субъективное очевидное

в-третьих: дебаты открываются потому, что человецье естество сооружено не на логике фактов, а на камне преткновения. Под камнем преткновения я подразумеваю дух противоречия, который обычно проявляется столь неуместно, что становится камнем на пути продвижения /любого продвижения, даже продвижения в -назад/. Это давным давно всем известно, что не мешает, однако: противоречу — утверждаюсь мыслящей единицей; говорю — вот тот, мне тотчас же: нет, вот этот. Правда, если оппонент — дебатант неглупый, он проявит свою "единицу" не в "лоб", противопоставляя мне противоположную величину; а кого-нибудь недалеко, может и совсем рядом, чтобы по пути задеть мое самолюбие, подчеркнув недостаточность моей компетенции или неизящество моего вкуса.

Итак, дебаты откроются и каждый дебатант /или через одного, два/ будет предлагать свою курицу. А так как каждый знает, что истина находится так далеко, что не сможет за себя дать

по шее, то каждый и будет бороться за нее не покладая языка, а некоторые и рук. Вполне естественно, что дебаты откроются с вопроса: почему, собственно дебатировается Витгенштейн, а не Гегель, с его диалектическим зерном, не Маркс, со своей прибавочной стоимостью, не Юнг, с теорией архетипов, а он, Витгенштейн, рекомендовавший помалкивать /читайте первые 43 знака/. Так вот, для начала запущу в оппонентов народной мудростью. Она /мудрость/ установила, что молчание - золото. А золото лучше не золота. Это вам подтвердит любая народная и прочая единица, как большая так и маленькая.

Для лучшей ориентировки - три категории дебатировующихся и их количественный состав:

I кат. - дебатанты, дерущиеся за тех мыслителей, которых уважают публичные мыслители, иначе, имущие власть. Этих - 88%.

II кат. - дебатанты, выбирающие философов по случаю, ориентируясь на соседа, ассоциацию. Этих - 10%.

III кат. - дебатанты пропагандирующие ту философскую платформу, которая ближе им по духу и быту. Этих - 2%.

Эти-то последние, и будут наиболее назойливы и ревнивы в рвении затащить меня на свою тележку. И для того, чтобы не сталкиваться с ними на подмостках и уберечь пуговицы от поругания, я коротко изложу свои соображения на этом листке и пушу его в мир. Затем запрусь в своей комнате и отрешусь от всех публичных предий. Буду сидеть тихо! И ничего не буду знать. Только догадываться. В меру. Интеллигентно. Догадываться о том, о чем стоит. Что легко можно опровергнуть. Что я легко могу опровергнуть. Таким образом, молча, попивая чай, я опровергаю всех своих оппонентов и выхожу на прямую. И не сказав и слова - я у финиша. Это второй камень, выбивающий монету из рук противника, потому как: "...о чем невозможно говорить /а невозможно говорить о себе, о своей истине, потому что никто не хочет понять, что единственная

объективная истина — это субъективная истина, несмотря на свою множественность и даже благодаря ей, о том следует молчать /а разве кто-нибудь станет молчать, узнав, что его истина — это объективная истина? Он тут же начнет напярмивать ее на всех остальных/".

Из всего сказанного вовсе не следует, что Витгенштейн предлагал умолкнуть навеки. Отнюдь. Он предлагал всего лишь создать новый язык, такой, символы которого имели бы строго определенное значение: "не говорить ничего, кроме того, что может быть сказано ясно..." Но это, бесспорно, для тех, кто за долгое время своей истории настолько крепко привык шевелить языком, что полностью отвык шевелить извилинами. /Если прыгать, то по кочкам/.

Несомненно, можно написать огромный труд о том, как человек изобретал язык. Можно описать все гипотезы, предположения. Можно, в конце концов, самому прифантазировать тысячи "импульсов" к изобретению речи, но я упомяну только об одном, наиболее, на мой взгляд, вероятном:

Импульс: как-то урча от удовольствия, или, напротив, рыча от негодования, человек одновременно шевелил языком, почесывая себе небо. Вдруг, ни с того, ни с сего /во время этих манипуляций/, он услышал, как из его горла вырываются членораздельные звуки. Человек насторожился /перед этим он вздрогнул/, поднатужился и сообразил, что: дубинка дубинкой, а слово тоже ранит.

Процесс: человек видел предмет и давал ему название. Затем сидел и долго запоминал. И опять видел предмет и давал ему название. Затем долго сидел и запоминал. И опять видел и давал. Затем сидел и запоминал. И опять видел, давал, сидел, запоминал. Затем запоминал, сидел, давал, видел, опять, запоминал, видел, давал, затем, опять, долго, сидит, дает

И так веками

Передавая названия "... всему тому, что имеет место", человек не дал названия только тому, чему дать невозможно. Меня тут же, с присущей человеку алогичностью, спросят, а чему дать невозможно. А я отвечу: всему, в с е м у. тому, чему человек не дал. Так, что чему не дал, тому не дал, а вот ч е м у не дал, попробую ответить:

Язык — это язык фактов и сущности фактов, ну а как же с сущностями, не содержащих в себе фактов?: — славянской душе присуще нечто такое, что зовет ее, толкает куда-то туда... и она жаждет чего-то того... Так вот, я хочу, чтобы мне указали то место, куда хочет славянская душа. Любой отвечающий начнет свою попытку с фактов /как-~~буд~~ будто можно начать с чего-то иного/. Подтянув к себе за патлы невероятное количество фактов, бесконечно модифицируя их и меняя, отвечающий сползет на причины. Покопавшись в них, в себе, во мне, в нас, в в а с, он устроит небольшой дебош из всего собранного и в итоге придет к выводу: там, где начинается душа, пусть даже и не славянская, там начинается языковое бездорожье. Вспомним Витгенштейна: "... о чем говорить невозможно".

Пойдем дальше: итак, язык — это инструмент фактов /другого языка пока нет/. А раз человек дал фактам имя, значит человеку факты известны. Так есть ли смысл пересказывать друг другу известные факты? Мы /я и Витгенштейн/ считаем, что нет смысла, а то, другое, что неизвестно и имело бы смысл — пересказать н е ч е м

И еще дальше: язык — это язык фактов. Тех фактов, что лежат на поверхности и видны "простым" глазом /иначе как бы человек дал им названия/. А все остальное В С Е занято н е и з в е с т н ы м. А раз неизвестным, значит неуправляемым. Значит, за тонкой коркой фактического языка лежит н е и з в е с т н о е н е у п р а в л я е м о е. А что будет, если тонкий слой человеческого языка прорвется? Витгенштейн

понял, что будет, испугался и предупредил: "О чем н е
в о з м о ж н о говорить, о том следует молчать!"!

Но любой человек, изобретший хоть самую малость, вцепится
в свою малость всем телом и ногтями, и не отцепится, никог-
да, разве что его задушить.

С В А Д Ь Б А

Опять все кончилось удивительно просто. Я захлопнул дверь перед самым ее носом. Захлопнул, нажал спуск английского замка, набросил цепочку, всадил маленький, но вполне надежный крючок в железную петлю. Все, чем можно было удержать дверь на месте, я использовал, но все равно тревога не проходила. Особенно если учесть, что мне может захотеться выпить чаю, и я поставлю чайник на газ, а газ будет щипеть, а затем и чайник начнет, закипая шипеть, и шипенья будет в два раза больше, чем при одном только газе. А потом я могу еще и насвистывать, потому что люблю свистеть на кухне, когда готовлю чай, и шума будет втрое больше, чем при одном только газе. А потом мне захочется просмотреть корреспонденцию и я усядусь на свой любимый старый табурет, который скрипит, а еще шорох бумаг, значит шума впятеро больше, чем при одном только газе. А потом я могу еще открыть окно, поддавшись иллюзорному желанию подышать свежим воздухом, и городской шум проникнет в мою кухню. И будучи раздражен уличным гулом, я начну грубо хлопать окно, и в этот самый момент, когда я буду занят своим раздражением плюс весь шум, описанный ранее, она различными ухищрениями откроет мою входную дверь и прокрадется к кухне, и откроет кухонную дверь, и я не успею отскочить от окна и захлопнуть дверь перед самым ее носом. И она войдет. И она сядет. И начнет плакать. И станет говорить:

- Ты совершенно забыл о моей маме, а ведь она тоже человек. Когда она была молодой, она ходила с зонтиком, и все думали, что она умеет читать, а ведь она и вправду умела читать, просто никто этого не знал. Несчастья падали на нее как удары молота на наковальню. Ведь мой дед был жокеем и часто ездил в кузницу подковывать своих лошадей. А однажды лошадь сбросила его, и он вывихнул ребро. С тех пор ребро у него

торчало из-под рубашки, и все его били, думая, что это не ребро, а холодное оружие. И это далеко не все несчастья, которые сыпались из рога изобилия на весь наш род. Когда-то очень давно один из моих предков умер, захлебнувшись парным молоком. И с тех пор у нас в роду никто не пьет молоко, а только на воду дуют. А молоко мне необходимо. Если бы я пила молоко, я была бы белая с розовым румянцем. А так я очень худая, и мне больно сидеть на стуле. А ты увлекаешься румяными женщинами и не хочешь вспомнить о моей бедной маме, которой дал надежду. Ведь когда ты увидел меня впервые, я была в белом платье. Ты смотрел на меня с интересом, и в твоём взгляде я прочла желание помочь моей маме избавиться от меня. И тогда я все ей о нас рассказала, и она послала меня к тебе и дала на счастье шелковый платок, чтобы с его помощью открыть твой английский замок и взять тебя. И вот я прихожу к тебе уже много раз, и в каждый мой приход ты хватаешь меня за волосы, и вытаскиваешь на лестничную площадку, и захлопываешь дверь перед моим лицом. А я хочу от тебя так мало. Я только хочу надеть на голову венок из цветов, а один цветок из моего венка вставить тебе в петлицу. И чтобы ты взял меня на руки и среди всеобщего восторга понес к черной машине. И чтобы старые люди на всех этажах плакали и, глядя на нас, завидовали и вспоминали свою несуществующую молодость. И чтобы ты принес и посадил меня в черную машину, и чтобы с этого момента кончились мои заботы и начались твои. Потому что только ты можешь обеспечить счастьем мою маму, меня и все прочее.

Я начал хватать стулья и тащить их к входной двери. Это было противно, потому что они постоянно застревали в дверных проемах, а у меня не хватало терпения работать методично медленно. Конечно, если бы тут, сейчас, были она и ее мать, работа двигалась бы в три раза быстрее, и было бы легче забаррикадироваться. Я мог бы и вообще ничего не делать. Я мог бы давать указания, как целесообразнее воспользоваться мебелью для ограждения. Можно было бы их заставить прита-

ЩИТЬ К ВХОДНОЙ ДВЕРИ СТОЛ ИЗ ГОСТИННОЙ. Даже лучше было бы сначала стол, а потом на него поставить стулья, а на стулья — что-нибудь тяжелое, чтобы нельзя было сдвинуть с места. Я мог бы даже полежать, пока они будут работать. А после того, как они закончили бы все это, они позвали бы меня пить чай на кухню, и я смог бы спокойно свистеть и открывать окно, и раздражаться, не боясь, что она ворвется в самый неподходящий момент. Ведь она одна не смогла бы сдвинуть всю ту массу вещей, которую они с матерью навалили у дверей. А потом мы могли бы спокойно наслаждаться чаем, думать о том, что же делать после того, как усядемся в черную машину.

Если бы я мог

"Я иногда бываю терпим,
иногда же очень нетерпим".

Н. Бердяев

Время тянулось. Дог лаял. Мир обмусоливался мыслителями. Рим был настолько стар, что скучно о нем было даже думать. А меня мучила бессонница. Я не спал уже который месяц. Я не спал и думал, вернее, мечтал, что в один ближайший день год остановится, проклятый дог перестанет лаять, мыслители успокоятся в могилах, а Рим покарает десница божья. За что-нибудь там...

Но все осталось без изменения: я не спал, дог лаял, время шло, Рим стоял, мир глупел. Все было по-прежнему, только комната моя приобретала серый оттенок. С потолка начала капать вода, пол покрылся плесенью. Я старался не вставать с постели, чтобы не наступать на белесую поросль. Я очень брезглив. Чтобы вода, капающая с потолка, не мочила мне голову, я сидел под большим черным зонтом. Когда ко мне приходили знакомые, я жаловался на свою и их серую жизнь, они стали навещать меня реже. Иногда проходили целые недели, прежде чем появлялся затерявшийся друг и вводил меня в курс международных катастроф. Где-то происходило землетрясение и погибало столько-то тысяч человек, где-то случалось наводнение и погибало столько-то тысяч человек, где-то гас свет и люди, пока никто не видит, расправлялись друг с другом без помощи стихий и погибало столько-то тысяч человек. Кстати, в последнем случае особенно не нравились мне мелкие ворюжки, которые, пользуясь темнотой, таскали и кошельки. Это как-то унижительно, когда кто-то шарит по твоему телу в поисках ценностей. Я бы издал специальный закон, ограждающий человеческое достоинство от покушения.

Я бы издал закон о непременном ношении денег и ценностей только в портфелях и сумках. При первых признаках исчезновения света портфели, сумки должны были оставаться на улицах, чтобы никто, совершенно никто не имел оснований и обоснований прикасаться к человеческому телу. И вообще — я бы издал очень много полезных законов. Например, совершенно замечательный закон о запрещении держать догов. А в тех исключительных случаях, когда не держать догов невозможно, — держать их только с применением глушителей, которые одевались бы на морду как противогаз. К тому же доги не дышали бы на меня своим собачьим дыханием и не портили бы пейзаж своей слюнявой мордой. Это же непристойно, когда изо рта слюна капает. Я помню еще в детстве, когда у меня текли слюни, мама била меня по губам и заставляла вытираться. И справедливо. Теперь без платка я не мыслю своего существования. И всегда, когда я вижу на ком-нибудь слюни... Я очень брезглив. Но все это, впрочем, житейские мелочи. Есть гораздо более важные проблемы. Например, время. Я бы издал совершенно необходимый закон о мыслителях. Я бы издал закон о том, чтобы все мыслители размышляли только о времени. И не вообще, а вполне конкретно. Чтобы они размышляли не о метафизическом времени, а о материальном, осязаемом, о том времени, которое процырявило мне дыру в крыше. Я бы мыслителям вменил в обязанность остановить время в течение двух месяцев. Чтобы к осени оно остановилось. Чтобы осени не было. У нас очень плохая осень. У нас осенью — бабье лето. И всякие мелкие твари и паутина залетают в дыру и по лицу ползают. А этого я не выношу.

Еще я издал бы закон о женщинах. Я издал бы закон, чтобы все женщины худые были. Правда, этот закон идет вразрез с моими эстетическими и сексуальными устремлениями, но не все о себе думать. Полные женщины приятны для глаза, но не для бытия. На полных женщин приятно смотреть, полным женщинам приятно ласкать, но, с другой стороны, — лишнее мясо делает их неповоротливыми и придает им незаслуженную вели-

цавость. А величавость в жизни ни к чему. Мне так кажется. Да и всем так кажется. А если кому-нибудь так не кажется, то я бы издал закон, чтобы казалось. Потому что в моем государстве все должны быть моими единомышленниками, или не быть вовсе. Да!

Когда нас судили

Судили меня и еще одного человека. Человек рядом был спокоен и невозмутим. Он знал, что его не осудят. Я тоже знал, что его не осудят. Он был невиновен. Он был в чем-то невиновен, и я радовался, что скоро пойду домой. Меня раздражал этот зал и этот в кучу сбитый народ. А еще двери открыты. Распахнуты и заполнены лицами. Я хотел домой. Я знал, что буду делать, когда вернусь домой. Прежде всего я закрою окна и двери. Затем приготовлю чай и выпью его, сам, именно сам. Я никому не открою: ни Петру, ни Магдалине, ни всем остальным. Они надоели мне, ученики мои. Они приходят ко мне и пьют чай. Они слушают мои речи и пьют чай. Когда я умолкаю, Петр задает мне вопрос, преимущественно нелепый, и тут же, снова, хватается за чай. И вот они опять вытаскивают из чашей глаза и наблюдают за движением моих губ. Я вижу их постоянное удивление. Они не понимают, что я говорю и зачем говорю. А Магдалина сидит рядом, держит меня за руку и бессмысленно умиляется. Все они — очень бедные люди. Говорят, что Иуда, тоже мой ученик, что-то рассказав обо мне, получил деньги. И вот судят меня... и еще одного человека. Он спокоен и невозмутим. Он знает, что его не осудят. Я тоже знаю, что его не осудят. Говорили, что он убил кого-то, а может украл, но разве кто-нибудь имеет право судить его? Разве тот, кто судит, не такой же обвиняемый у того, кого судит? Судья в черной мантии и белой манишке. Лицо старое и брезгливое. Он что-то говорит. В зале нарастает гул. Человек рядом спокоен и невозмутим. Я тоже спокоен и невозмутим. Я ему улыбаюсь. Он мне нравится. Когда выйдем отсюда, непременно приглашу его к себе на чай. А народ кричит. Безумная давка не дает возможности махать руками и он просто кричит, раскрыв рты, рты, рты, рты. Потом судьи ушли. Вернулись. Среди всеобщего рева крик Магдалины. Мне не нравится, что она в этой толпе. Мне не нравится, что она тоже кричит. Ко мне подошли два человека и вывели на улицу. Я хотел поблагодарить, но

они подвели меня к огромному дубовому кресту и предложили нести его в гору. Я с трудом поднял и пошел. Крест был тяжелый и больно давил на плечи. Я сильно согнулся, чтобы тяжесть равномерно приходилась на всю спину. Завывание народа, шедшего сзади, действовало на нервы. Магдалина цеплялась за ноги, мешая идти. Пока дошел до вершины несколько раз падал. А Магдалина металась с растрепанными волосами и, кажется, впервые была красива. На вершине крест положили на землю и начали прибивать меня к нему гвоздями. Было нестерпимо больно. Я рвался и кричал. Но меня крепко держали, забивая гвозди в руки и ноги. Кровь лилась, превращаясь в ржавых червей, ярко уползавших в землю. Через некоторое время они снова вползут в меня и я восстану, так говорят. А теперь они бежали, как крысы. Я кричал, а люди тянули заунывную песню. Весь холм заполнился червями, а люди пели, отступая от них вниз. Скоро все спустились к подножию, осталось только несколько, которые топтались в копошащейся массе, поднимая крест и закапывая его в землю. Потом и они ушли.

В ожидании завтра

Будильник звонил ровно в семь. Встать, размять суставы, умыться холодной водой. Сегодня, по плану, должна испробовать на руках. Пальцы завязываю, с руками — сложнее. Мешают локти. Они не выгибаются, не сгибаются под углом. Интерпретация упражнений, с учетом моей физиологической фактуры, помогли размять их, но не более. Конечная цель — ноги. Если сегодня получится с руками, завтра возьмусь за ноги. Разминаю кисти, чувствовала, как они поддаются мне. Кость не сопротивлялась. Скрестив руки, правой обернула левую, левой — правую. Теперь затянуть. Захватила зубами пальцы правой руки. Потянула. Рука не двигалась. Вытянулись пальцы. Ногами? Положив правую ногу на левую руку, а левой ногой придавив правую, резко откинулась назад. Руки затянулись. Повторив операцию, — получила узел. Единственным раздражающим пунктом были локти. Они грубо ломали изящную, плавную линию узла. Но главное наличествует. Завтра — ноги.

Будильник зазвонил ровно в семь. Встать, размять ноги, умыться холодной водой. Ноги гнулись отменно. Мягкие, гибкие. С ними будет легче. Помогут руки. Села. Закурила. Если сегодня завяжу, завтра, по плану, "удавки". На каждой ноге отдельно. Села на пол. Скрестила ноги, и, просунув руки под колени, схватила щиколотки, сильно потянув на себя. Ноги затянулись. Прямые остатки закинула друг за друга и опять затянула. Узел. И снова, как в истории с руками, — торчат колени. Видимо, мне их не отработать. Видимо, локти и колени всегда будут сбивать ритм моих узлов. Остатки голени опять закинула друг за друга и, крепко ухватив ступни руками, затянула. Двойной узел. Завтра — "удавки", иначе — "штормовой". В силу того, что этот узел самый сложный и является целью моих узлов, впредь буду звать его "Главный". Итак, завтра — "Главный". На каждой ноге отдельно.

Будильник зазвонил ровно в семь. Встать, размяться, умыться холодной водой. Сегодня, по плану, — "Главный". На каждой ноге отдельно. Решка. Значит, начнет правая. Первое упражнение разминки — обернуть ногой талию. Второе — дважды левую ногу. Все гладко. Теперь поделить голень на три части и каждую согнуть под прямым углом. Последнее — щиколотку прижать к колену. Села на пол. Помогла руками. Так. Теперь за узел. Взяла двумя руками щиколотку и, изогнув голень во внутрь, провела ее за колено. Получила петлю. Придерживая щиколотку правой рукой, левую просунула в образовавшийся круг и крепко схватившись за ступню, резко втянула ее в круг. Затем, помогая себе правой рукой, затянула. Узел. "Главный". Еще раз? Ухватившись обеими руками за готовый узел, попробовала остатки голени, колено, и кость над коленной чашечкой выгнуть дугой, но нога согнулась в колене. Еще попытка. Опять угол. Час тому она выгибалась. Снова угол. Нога в узле стала млеть и пухнуть. Попыталась развязать. Не удалось. Четкий рельеф узла затерялся в опухоли. Боль нарастала грубыми рывками. Вызвала врача. После внимательного осмотра и неудачной попытки развязать, предложил ампутировать. Подумав, согласилась. Часть голени и всю бедренную кость можно будет использовать под другой узел, конечно, после длительной тренировки. Для "Главного" остается левая. Я, практически, ничего не теряю. Впереди труд. Огромный труд. А теперь — в больницу.

Меченный крестиком день

Сегодня веселый день. Сегодня я гуляю на вечернем чаепитии. Я надеваю наряд, который как всегда, не соответствует назначению и беру с собой приятеля, который, как всегда, не соответствует приему. Мы берем с собой подарки, которые, как всегда, не нужны хозяйкам чаепитий и отправляемся к месту приглашения. Открывая дверь в прихожую чаепитной квартиры, я натываюсь на взгляд маленьких пожилых глазок, которые, обходя меня, намертво закрепляются на моем спутнике — молодом художнике с худосочным телом и иисусовской бородой. Схватив его за руку, маленькие глазки лезут ему в лицо. Мой спутник, вежливо выдернувшись, торопливо отправляется в чаепитную, обшагивая многочисленные стулья, диваны, ряды гостей. Я спокойно снимаю шубу и иду по проторенной дорожке среди диванов, стульев, рядов гостей. Где-то на полдороге натакиваюсь на выпученные глаза с нехорошим блеском, но так как я — это я, я беспрепятственно присоединяюсь к своему спутнику за каким-то из столов, в какой-то из комнат. Мне подносят шачку с напитком и я пытаюсь это пить. Мой спутник, убивая время, что-то оживленно мне говорит. Его говор, вначале резкий и четкий, начинает сползать на говорок, затем на шепот, затем на полусвист, затем... Я оглядываюсь и вижу, что он сильно уменьшился в размерах и удивительно сморщился. Глаза его беспомощно снуют под столом, а пальцы рук пытаются сломать у бокала ножку. Пошарив взглядом, опять натываюсь на маленькие глазки, которые с бесцеремонностью голодного жуят его лицо. Во мне нарастает смех и, не сдержавшись, я разражаюсь хохотом. Не зная чем ему помочь, срываюсь с места и мчусь куда-то, зачем-то, пока не налетаю на огромную тень, которая схватив меня за плечи, смазливый шепотком увлекает в танец. Я отрываю ее от себя и в отсылке в чаепитную кого-то спасать, кого — уже не помню. Когда тень истает в дверях, ко мне подскакивает существо на длинных ногах, которые морскими водорослями колышутся в

разные стороны. Хлопает дверь. Падает стул. Кошка отчаянно вьется, пытаюсь высвободиться из-под деревянной напасти. Появляется хозяйка и, ссыкая, ласкает травмированную кошку. Кошка разрастается в большую кошку, в огромную кошку, в кошку в синем, в женщину в синем. У женщины огромный бюст и такие же огромные бедра. Ее зеленые глаза кокетливо поглядывают по сторонам, пока не натаккиваются на маленькое мерзкое создание. Это создание оказывается ее дочкой. Кис, кис, — говорит она и маленькое создание на хилых лапках ковыляет к ней. Женщина в синем широко открывает рот, она хочет облизнуть желтое пятнышко, которое одной рукой подносит к своему лицу. Глаза мои увлажняются, и все лица расплываются в грязные пятна. Я сижу на диване и что-то пью. Возле меня сидит существо с сильно выпученными глазами, которого мне бояться совершенно нечего, потому что я — это я, но существо не знает, что я знаю, что бояться его вовсе не стоит и изво всех своих сил пытается меня заинтересовать тем, чем невозможно. Для этого оно пускается в разговоры на какие-то, очевидно, безотказные темы, прикрывает и широко раскрывает глаза и даже танцует. Его выхлястые, невпопад движения и что-то шепчущие безгубые губы вызывают скучную скуку. Я ищу глазами объект, на который можно было бы переключиться и наткнулась на появившегося в проеме дверей своего приятеля. Он, задыхаясь, волочит за собой присосавшиеся пожилые глазки. Кажется еще немного и с ним будет плохо, а мой разбухающий хохот задушит меня прежде, чем вырвется наружу, но тут случилось нечто: жуткий скрежет потряс все мое естество и грянуло. Гости пружинками повскакивали с диванов и ринулись в пляс. За ними неторопливо поднялись столбики пыли и все закружилось, все затряслось. Я откинулась назад, на что-то мягкое, шевелящееся: — Вы знаете, а мы женили нашу обезьянку, теперь у нее будут детки... Ко мне приблизился чей-то палец. Я его укусила. И опять все расплылось и отодвинулось на задний план. Около меня сидели черные усики и с остервенением жевали себя. Среди чавканья

проскальзывали какие-то галантные фразы, которые соединялись с захлебывающимся панегириком кому-то, чему-то. Из "ни зги" вышла хозяйка чаепития и, обнажив в счастливой гримаске серые зубы, бросилась на меня. Под тяжестью ее любви, воздух окончательно перестал поступать в мои легкие. Я билась в ее сиреновой одежде, постепенно превращаясь в белую моль. Единственным выходом было прогрызть себе дыру. Я с поспешностью принялась за работу. Когда выбралась наружу, все сидели за столом. Хозяйка в сиреновой одежде в исступлении кончала тост о моей бабушке. Последними словами ее были: -- ...и в свои семьдесят пять лет, она все еще была непорядочна. Я прошла к своему приятелю и уселась рядом. Мне поднесли чашку с каким-то напитком и я попыталась это пить. С каждым глотком я куда-то исчезала, пока не исчезла совсем. Там бродили тени, очень похожие на фотографии, выполненные негативным способом. Я закрыла глаза и исчезло все, только ухо улавливало шорох моего маленького приятеля, который сморщенным метался среди стульев, рядов гостей, но это уже было не во времени, а в вечности.

Г О С Т Ь

Сегодня я зачиталась больше обычного. Небо уже начало светлеть, когда я решила отложить книгу. В это время послышалось легкое поскрипывание за дверью, затем кто-то нажал ручку и вошел в комнату, на мгновение задержался за шкафом, затем направился в мою сторону и я услышала жалобное всхлипывание. Направив лампу на вошедшего, увидела человека в потрепанном, темном костюме с портфелем в руках. Он дергал себя за пуговицу и тихо скулил. Я спросила его, в чем дело, что ему тут нужно и почему он не дает людям спать. А он смотрел — не видя, насквозь, смотрел — будто рассматривал простыню подо мной. — В чем дело, — возмутилась я, — уберите! Он подошел к окну, распахнул его, втянул неприлично большим носом холодный воздух, затем направился ко мне, взял мою руку, отошел с нею, повертел и машинально положил на стол. Я повернулась на тот бок, где была рука и почувствовала, что без нее лежать намного удобнее. ~~Или~~ Подушка приходилась как раз на шею, между плечом и головой. Закрыв глаза и развела о том, как было бы хорошо, если бы я имела возможность избавиться от всего тела, оставив только голову: ничто не мешало бы спать, удобно закутавшись в подушку. Но это глупое, человечье всхлипывание — мешало. — Да перестаньте же, перестаньте! — закричала я. Человек без всякого внимания на мой окрик, подошел ко мне, взял другую руку и бросил ее на ~~пол~~ пол. Я почувствовала почти облегчение. Ничто не давило бок, ничто не млело. Может еще покричать, чтобы он забрал у меня и ноги? А он все всхлипывал, некрасиво морща нос, а глаза его были как две мисочки с ~~водой~~ водой, из которых выливались скучные, скучные слезы. Я смотрела на его слезы, постепенно превращающиеся в молоко и безостановочно льющиеся на пол. Опять пятна, опять муть эти пятна. Опять скрести эти вечные пятна. — Хоть кастрюлю подставьте, — недовольно пробурчала я, заранее зная, что ничего не подставит он, что он просто не слышит: — Дайте мне вашу ногу, —

прошелестел человек. — Как, — усмехнулась я, — вы же забрали мои руки. — Да, да, вы правы, — прошептал он, подходя ко мне, откидывая одеяло и оценивающе глядя на мои ноги. — Худы очень, придется взять обе. И он взял. Поставил возле стены. Я смотрела на них, не соглашаясь, что они худы. Нормальные ноги. Даже красивы. И вдруг, вспомнив про туловище, заинтересовалась, будет ли он делить его пополам, т.е. на грудь и бедра, или возьмет целиком. — Ну же, ну, — мысленно торопила его, скорее. Очень хотелось спать. Вдруг человек засуетился, заметался по комнате, поискивая, открыл портфель, потом закрыл, подскочил ко мне и протянул руку и она мгновенно поглотила мое тело. Стало легко и покойно. Надо бы поблагодарить, но было лень открывать рот, и, засыпая, я только успела подумать, что утром обязательно захочу курить, а сигареты лежат на рояле.

М О Я М А М А

П о с в я щ а е т с я

О л е н е Б у р д а ш

Мама была очень красива. Большие глаза, черные волосы, стройное тело. Но однажды случилось несчастье. Она покалечила ноги и слепла. Ей было трудно, и она плакала. Плакала все время. Лежала и плакала. Так прошло несколько дней, и она стала зарастать. Брови расплывались по лицу, покрыли пухом лоб, щеки, подбородок, поползли по шее, захватывая грудь. Брат взял безопасную бритву и начал осторожно очищать ее лицо. Потом мы ополоснули ей рот, забитый пухом, и дали есть. Через некоторое время заметили, что она опять покрывается пухом. Пух расплзся, прямо на глазах, превращаясь в щетину. Пока брат пришел с работы, щетина заползла на живот. Мы немного боялись, что маленькая бритва не возьмет такое количество волос, но все обошлось. Через час мама была чистая. Ночью меня разбудил тихий шорох. Я испугался, вскочил и зажег свет. Волосы, живые и черные, вылезали из маминой головы и ползли к дверям. Я закрыл дверь и всех разбудил. Посоветовавшись, решили их остричь. У основания. Двое из нас жгутом свернули их у головы, а третий попробовал резать. Волосы не давались. Рвались из рук. Навалившись на них всем телом и придерживая ногами, мы с трудом одолели их. Мама лежала и плакала. Голова ее, с коротко остриженными волосами, голо покоилась на подушке, вызывая ощущение продолжения.

Прошло несколько дней. Волосы отрастали медленно, не вызывая беспокойства, и мы перестали дежурить у ее изголовья. Прошло еще время, и мы почти забыли об этом. Но однажды нас разбудил глухой крик. Когда вскочили, увидели, что волосы подползают уже к дверям. Матери не было видно. Она кричала, пытаясь освободиться из-под плотной массы, укутавшей ее целиком. Мы бросились к ней, разгребая волосы, но они плотным

слоем накрыли ее тело, и прорваться сквозь них было невозможно. Брат схватил ножницы и стал кромать их, выщипывая ее нос и рот. Потом было то же, что и в прошлый раз. Мы скрутили их жгутом и с трудом отрубили /топором/. На сей раз массы было много больше, и в печку она не влезала. Кто-то предложил отдать в парикмахерскую, кто-то взял корзины. Утром отнесли в парикмахерскую. Но с этого дня начался кошмар. Волосы росли во всех направлениях, норовя вылезти ~~в~~ в окно. Мы заколотили окна и перестали проветривать квартиру. Но самое страшное было то, что они заваливали мать, не давая ей дышать. И чем больше мы уничтожали их, тем более жесткими они отрастали. Топоры тупились и кто-то из нас постоянно натачивал их. По несколько раз в день мы огромными мешками разносили волосы по парикмахерским. Наладилось производство париков, и цена на них упала. Весь город ходил в маминых волосах. Все магазины были забиты маминими головами. Мы выбивались из сил. А наша мама, настоящая, задыхалась. Она лежала и плакала, а мы почти не спали. Брат бросил работу. Мы умирали от усталости. Волосы были повсюду. Мы спали на волосах. Мы ели с волосами. Мы — не знали, что делать. И вот кому-то в голову пришла мысль, что пока мама жива, волосы будут расти. Забьют комнату и вырвутся на улицу. Растекутся по улице, заполнят весь город. Будут ползти дальше и дальше. Что будет потом — страшно даже подумать, а в общем, нам уже и не придется думать. Был один-единственный выход, но никто не решался указать. Еще несколько дней все думали об одном и том же. А потом кто-то что-то принес. Мы ничего не боялись и никого не теряли. Наша мама толпами ходила по улицам. И мы всегда могли погладить ее по голове.

К Л Ю Ч

Я нашел способ обвести вокруг пальца эту хитрую машину. Но это — потом. А сейчас — по порядку.

Началось это таким образом. Я устроился работать актером в один из ее театров. За мою работу на нее, машина обещала много всевозможных вещей. Я терпеливо работал и ждал. Я ждал и работал. Я работал и ждал до тех пор, пока ко мне не приехала молодая жена с молодым ребенком. Я ждал и работал, но теперь перестал делать и то и другое. Я пошел в радиокомитет за обещанным. Студия, где я должен был получить сполна, находилась на третьем этаже. Все остальные этажи были заняты конторами, редакциями, машбюро, жилыми квартирами. В этих квартирах жили люди с улицы. И вот я пришел в радиокомитет, в студию, где женщина на побегушках должна была со мной расплатиться. Я пришел в студию и увидел на ее дверях, на дверной ручке, записку, написанную мягким /чтобы меня расслабить, убить бдительность/ карандашом: "я в студии". Сообразив, что студия не здесь — я пошел вниз. Навстречу по узкой винтовой лестнице поднималась женщина, очаровательная женщина средних лет в черных полуботинках с красными шнурками. В руках у нее было белковое пирожное. Увидев меня, она тут же разнервничалась. По ее телу прошла плавная дрожь от черных полуботинок к белковому пирожному. Я спросил ее с натуральной улыбкой, где студия. А она дрожала и тонкие шнурки бились о ее красные щиколотки. Белковое пирожное брызгалось и белыми хлопьями оседало на мой черный пуловер. Но я сообразил, что это ничего. Ко мне приехала молодая жена с совсем еще молодым ребенком... ко мне приехала молодая жена и вычистит мой пуловер бензином. Женщина указала вниз, явно намекая, что там, внизу, студия. А внизу была квартира, и из-за ее приоткрытых дверей валило человеческим запахом. Я имею в виду тот запах, который издает человек, живя в собст-

венной квартире. Я сделал вид будто поверил и быстро пошел вниз, но не в квартиру, а на улицу. Было очевидно, что и эта женщина с красными шнурками — на побегушках. Я спустился вниз, тонко ухмыляясь. Было ясно как днем, что меня хотели заманить на человеческий уют и что-нибудь со мной сделать, каким-нибудь образом обезвредить, чтоб ничего не давать и даже чтоб гвоздя не доверять. Насчет гвоздя я потому, что недавно режиссер сказал мне: "Принесите гвоздик для ключа". Никому не сказал, а только мне, потому что видел, что молод я и подаю надежды. Когда я вышел на улицу, ко мне подскочила первая женщина на побегушках и, затолкав меня в лифт, спросила, где колонны с транспорантами, на что я опять тонко усмехнулся и развел руками. И она поняла, что меня не провести. Последнюю попытку сбить меня с толку, я тоже выдержал с честью. Она тыкала ключом в дверь и старательно делала вид, что не может открыть. Потом с ехидцей передала мне ключ. А дверь можно было открыть мизинцем. Я и открыл мизинцем, то-есть ключом.

Сейчас я лежу на собственной кровати и мне все нипочем. Я понял, что только закон и закон, и нужно добиваться своего только дорогой закона и ни в коем случае не обходить его, потому что его обходят все и никому не приходит в голову идти прямо, а не в обход. И вся эта машина рассчитана на то, чтоб ее обходили. Это и есть ее ВЕЛИКАЯ ХИТРОСТЬ. А я ее раскусил, пошел прямо и теперь имею собственную койку и могу на нее даже плевать. Вот, вот, и еще вот, и никто ничего мне не может сказать.

К о р о л ь Л и р

Сегодня — "Король Лир". До начала представления всего сорок минут. А я еще не готова. Мне любопытно увидеть нашего "Лира" на сцене. Вчера он снова был у нас. Вчера он снова рассказывал о своем вдовстве, о дочерях своих. Он жаловался.

Краска неудачно ложилась на ресницы. Я нервничала. Оставалось тридцать пять минут.

Старшая была некрасива. С громадными, торчащими ушами. Как-то ночью он подкрался к ней и попытался остричь их, но она проснулась, когда он уже взялся за второе ухо. Оттолкнула его. С тех пор и ходит с разными ушами. Все было бы ничего, но она стала пересаливать его суп. Его любимый гороховый суп. А он ел этот суп и мучился жаждой, особенно на сцене. Все время сохло горло и он бегал за кулисы пить.

Оставалось только двадцать пять минут, а я еще не наложила румяна. Бледна как Мелизанда. Мелизанда ела сырое мясо и поливала его уксусом.

Средняя дочь была капризна и толста. Целыми днями бродила по комнате, а то, вдруг, исчезала. На несколько дней. "Лир" жаловался, что с военными. Он считал, что с ее круглым лицом она непременно должна нравиться военным, а они грубы. Не любят театр, и ресницы у них короткие, настолько короткие, что они моргают даже тогда, когда нет дождя.

Куда-то задевалась рисовая пудра. Я рылась в ящичках и наткалась на булавки. Оставалось семнадцать минут, а мне надо было еще одеться и уложить волосы.

Младшая была самой любимой. Она заботилась о нем. Она вязала ему носки. Сядет в уголочек и вяжет. А когда темно —

задигала бра. Была она бледная и робкая. Молчаливая. Никогда не выходила из дому. Он как-то попробовал вытащить ее в театр, но она забилась в угол и от волнения начала осипаться. Уже не говоря о том, что нецвязанные носки упали на пол, петли соскочили со спиц и ей пришлось начинать все заново. Больше он ее не трогал.

Было без четырнадцати, когда нашлась пудра. Я положила ее в сумку и стала лихорадочно расчесывать волосы. От нетерпения несколько раз дернула их. На глазах выступили слезы. Пришлось задрать голову и ждать, пока они закатятся назад. Без пяти выскочила из дому, поймала машину и поехала к "Лире" домой. Он жил на третьем этаже. Позвонила раз, другой, третий. За дверью слышался шорох. Кто-то подполз и тихо заскулил. Он никогда не говорил, что у него собака. В театр я опоздала. Когда заходила в ложу, Лир усаживался на королевский трон.
